ЛЕНИНГРАД
БЛОКАДНЫЙ

НЕВА
1
1999

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Разумовский
  - Часть первая
    - Июль
    - Сентябрь
    - Октябрь
    - Ноябрь
    - Декабрь
    - Январь
    - Февраль
    - Март
    - Май
  - Часть вторая
    -
    - Пролог
    - Начало
    - Эвакуация
    - Угоры
    - Эпилог

Лев Разумовский
Дети блокады

Часть первая
СЕМЬЯ

Светлой памяти моей сестры — Мирры Самсоновны Разумовской посвящаю

Июль

Яркое солнце. Голубое небо. Жара. Город преображается на глазах. Нет ни одного окна, не заклеенного белыми Х-образными крестами. Витрины магазинов зашиваются неуклюжими дощатыми коробами, внутрь которых насыпается песок. Сводки Информбюро ошеломляют. Наши войска оставили Прибалтику, часть Западной Украины и Белоруссии, Минск, Смоленск, Псков, Порхов, Новоград-Волынский…

Немецкая волна неудержимо катится на восток, и линия моих красных булавочных флажков на большой карте в коридоре также неудержимо приближается к Москве и Ленинграду.

Когда же их остановят? Почему Красная Армия отступает, вместо того чтобы наступать?? Где же наши прославленные маршалы — Ворошилов, Тимошенко, Буденный? Где наши танки, самолеты, кавалерия? Ответа нет, Есть лишь сухие официальные сводки Информбюро об оставленных городах, ожесточенных боях и о количестве сбитых немецких самолетов и уничтоженных танков. Сколько же у них еще самолетов и танков, если они при таких потерях все еще стремительно рвутся вперед?

Во многих домах угловые квартиры превращены в доты. Жильцов спешно переселяют, окна закладывают кирпичом и превращают в доты, из бойниц которых торчат стволы пулеметов или небольших орудий. Город готовится к уличным боям. Неужели до этого дойдет? Этого просто не может быть! Ведь нас не бомбят, стоит жаркое лето, звенят трамваи. Если бы не внутреннее состояние растревоженного муравейника и не репродуктор, передающий ужасные новости…

Целыми днями я пропадаю в Польском саду, где записался в организованный райкомом комсомола военно-спортивный клуб. Вместе с другими ребятами и взрослыми мы роем на газонах с табличками «По газонам не ходить! Штраф 3 рубля.» Траншеи — укрытия от бомб. Мне нравится эта работа. Наши щели-окопы глубиною почти в человеческий рост, будут спасать людей, оказавшихся по близости во время бомбежки. Мне нравится орудовать лопатой. Черная мягкая земля хорошо поддается, мы делаем нужное дело, и мускулы заодно крепнут. В нашем клубе человек тридцать мальчишек моего возраста и чуть постарше. Мы учимся ходить строем. Нам раздают деревянные винтовки. Нас учат штыковому бою. Однажды военрук приносит нам настоящую винтовку и объясняет принцип работы затвора, показывает, как заряжать винтовку, как вставлять обойму. Все у него получается быстро и ловко. Впервые в жизни я держу в руках настоящую

винтовку. С уважением и робостью. Неужели мне ее когда-нибудь доверят и я смогу стрелять по фашистам? А тяжелая-то какая! И затвор не слушается. У других мальчишек дела не лучше, но кое-кто уже освоил науку, лихо досылает патрон в патронник, поворачивает рукоятку, становится на колено, и, прищурив глаз, нажимает спусковой крючок. Выстрела нет. Винтовка учебная с дырками на стволе, но все же настоящая! С благоговением держу гранату РГД. Настоящая граната! Как в кино. Военрук объясняет действие запала: в этой медной трубочке все дело. Без нее граната — просто железка. С запалом же граната — грозное оружие, «карманная артиллерия», как назвал ее сам Ворошилов. Все очень просто. Надо вставить запал, снять чеку и бросить гранату в противника. Если уронил гранату с сорванной чекой — конец! Все просто! Заодно с практикой военрук проводит с нами беседы. Враг у ворот! Красная Армия, конечно, разобьет его на подступах к Ленинграду. Однако, может случиться и такое, что он где-то прорвется в город. Так неужели мы допустим, чтобы проклятые фашисты топтали священные камни нашего города? Мы дружно хором отвечаем:

— Нет! Не допустим!

Он говорит, что нам дадут бутылки с бензином. Это тоже просто. Надо только попасть бутылкой по смотровым щелям. Танк сразу вспыхнет, фашисты повыскакивают из него, а он взорвется. Все это так интересно! Нас готовят к уличным боям!

Спортивная часть у нас тоже насыщенная. Мы бегаем по саду, учимся играть в волейбол и ездим в ЦПКиО на занятия по плаванию. К своему стыду я оказался единственным в группе, кто совсем не умеет плавать. На это есть особые причины. В нашей семье хорошо плавал только папа. Когда мы жили в Мирево он ежедневно бегал к озеру и подолгу плавал, нырял, отрабатывал стили и, свежий и довольный, возвращался домой. Мне было тогда шесть лет. Папа, сторонник мужских методов воспитания, несколько раз безуспешно пытался научить меня плавать, а однажды пошел на эксперимент: на глубоком месте неожиданно выдернул из под меня руку. Я немедленно пошел ко дну и захлебнулся. Вытащенный им с глубины, отфыркавшись, откашлявшись и отдышавшись, я заревел и долго не мог прийти в себя от испуга. Неприятные ощущения сохранились надолго, и к пятнадцати годам плавать я так и не научился. Здесь, в группе, я решаю добиться своего во что бы то ни стало. Кончаются двухчасовые занятия, я одеваюсь и иду вместе со всеми. Где-то на пути к выходу сворачиваю на боковую аллею, делаю круг и возвращаюсь к заливу. Одному легче. Я не слышу насмешек товарищей, недовольного голоса тренера. И вот наступил

удивительный миг — я проплываю два, три метра! Вода держит меня! Новая попытка. Я плыву уже пять, десять метров.

В парке уже совсем темно. Счастливый, я перехожу мостик, прыгаю на подножку трамвая, и вдруг, как обухом по голове, мысль: — ведь идет война!.. Лиля вместе с другими студентами Университета на окопных работах где-то под Толмачевым. На улицах — плакаты ленинградских художников: «Защитим город Ленина!». Это плакат Серова. На переднем плане солдат, матрос, рабочий и работница. На заднем Исаакий, заводские трубы, Петропавловка. На углу Международного и первой Красноармейской — Кукрыниксов: «Напоролся!». Могучий рабочий красного цвета вонзает штык в маленького черного Гитлера.

После занятий в ЦПКиО у меня волчий аппетит, и я сметаю все, что дает мне мама. С 18 июля введены продовольственные карточки. В магазин теперь идем не только с деньгами, но и с разноцветными талончиками, на которых написано: хлеб, крупа, масло, сахар. Продавцы вырезают талоны ножницами. Это долго. Очереди растут. Но продуктов пока достаточно. Хлеб мы даже весь не выкупаем: на папину рабочую карточку дают по 800 граммов, а нам всем по 600 — это почти две буханки на пятерых. Появились еще так называемые коммерческие магазины. Там есть все: колбасы, сыр, икра, масло, сахар по 17 рублей за килограмм! Кто же такой купит! Люди заходят в эти магазины, с любопытством смотрят на сумасшедшие цены и выходят.

23 июля на стенах появились приказы МПВО о круглосуточных дежурствах на чердаках и крышах. И плакат: Дружинница и мальчик в кепке, оба с противогазами, смотрят в небо. А кругом крыши, крыши и над ними перекрещивающиеся лучи прожекторов…

Сентябрь

В сентябре открылась наша 272 школа на Первой Красноармейской. На стене у входа — плакат: «Враг у ворот!». Состав класса сильно изменился. Многие ребята эвакуировались с родителями, и нас слили с параллельными восьмыми. Из старых — Авка Спиридонов и Вовка Петров, мой соредактор по классной газете по классной газете «Заноза». Мы усаживаемся рядом.

Школа пустовата… Учителя тоже другие, новые. Из старых только Евдокия Исааковна — физичка и Татьяна Захаровна — учитель физкультуры. Худенький седой Григорий Николаевич Курындин, наш новый преподаватель, рассказывает нам о древней русской литературе, читает «Слово о полку Игореве». «… Не лепо ли братия начати старыми словесы трудные повести о полку Игореве…». Непривычные слова, странные обороты… «А Боян же вещий… растекался мыслью по древу, серым волком по земле…» В голове утренний слух — немцы обстреливают Ижорский завод. Это так близко… Дома надо еще раз проверит светомаскировку, чтобы ни одна щелочка не светилась… «Кони ржут за Сулой, звенит слава в Киеве, трубят трубы в Новеграде, стоят стяги в Путивле…». Ага! Вот оно что! Не зря наш учитель читает нараспев это древнее сказание. Это же о нас, о нынешнем дне!.. Дальше я уже слушаю, не отрываясь. Музыка ритма, напевность, смысл повествования целиком захватывают меня, и внезапно прогремевший звонок вызывает досаду.

Директор школы — наш бывший завуч, Андрей Александрович Успенский. Нахмуренные брови, седые волосы ежиком. Замкнут, неразговорчив. Учительница географии в застегнутом сером пальто укрепляет на доске карту Советского Союза и показывает нам примерное расположение фронтов. Мы слушаем внимательно, а я даже вношу поправку по последней сводке. Рассказав о фронтах, учительница несколько минут сидит молча, потом вздыхает и, задолго до звонка, объявляет о конце урока.

— Война, — говорит она в дверях. — У всех много дел, ребятки… Домашних заданий не задаю. А у вас год быстро пролетит, глядишь и восьмой закончите…

Урок географии последний. Мы спешим в школьную столовую, где дают горячий суп. Здесь вертятся наши «дядечки», дядя Леша и дядя Тарас. Тарас, туповатый мужик, всегда был добродушным, а дядю Лешу мы боялись. В школе он выполнял не только обязанности сторожа и уборщика, но и осуществлял, своего рода, полицейские функции. Если учительница, употребив

все свои педагогические премудрости не справлялась с разбушевавшимися классом, то вызывала дядю Лешу, который быстро наводил порядок, раздавая налево и направо хлесткие «щелбаны» по головам. Иногда же, скрутив какого-нибудь буяна и захватив его под мышку, он просто выносил его в коридор и там «маленько учил». Потолкавшись у окошечка раздаточной, оба дядьки получают по тарелке супа и быстро расправляются с ним.

Я встаю, чтобы бежать домой, но меня неожиданно останавливает незнакомая женщина и спрашивает:

— Мальчик, тебе нравится суп?

— Конечно нравится. Только очень жидкий.

— Жидкий суп, — повторяет она и задает тот же вопрос, сидящим за столам, ребятам. Они отвечают то же.

— А ну-ка, ребята, пойдемте на кухню и посмотрим, почему он такой жидкий, — неожиданно предлагает она. Мы встаем из-за стола в недоумении.

— Нас не пустят, — говорит кто-то.

— Со мной пустят, — уверенно отвечает женщина. — А вас я тоже приглашаю с нами, — обращается она к дяде Тарасу и дяде Леше.

Они послушно подчиняются, и мы всей гурьбой переступаем через заветный порог.

— Куда? Вход на кухню посторонним запрещен! — бросает навстречу нам повариха. — Выметайтесь немедленно!

— Прокуратура Ленинского района, — спокойно представляется женщина, предъявляя книжечку. Повариха застывает на месте с открытым ртом.

— Налейте-ка мне тарелку прямо из котла, — требует прокурорша.

Мы окружаем ее и, глотая слюни, смотрим, как она болтает в тарелке ложкой. Может она и нам нальет по тарелке?

— Это не суп. Это вода, — резюмирует прокурорша и выливает тарелку обратно в котел.

— А это что за бидон? Откройте!

Хмурая повариха открывает бидон и послушно отдает черпак.

— Ого! Это уже совсем другой суп, — говорит прокурорша и показывает нам тарелку. — Для кого бидон?

— Для учителей, — буркает повариха, глядя в пол.

— Так! Ребята, идем дальше. Откройте шкаф.

— Ключа нет, — говорит повариха. — Ключ у заведующей.

— Ваша фамилия? — обращается прокурорша к дяде Леше. Он называет.

— Взломайте дверь.

В руках дяди Леши, как из под земли, оказывается молоток и

долото. Минута — и дверь открыта. Из шкафа извлекается еще один небольшой бидон. Прокурорша открывает его, зачерпывает ложкой гущу и выкладывает ее на тарелку.

— Чей бидон?

— Не знаю.

— Все ясно. Итак, имеется три сорта супа: суп-вода — детям, суп как суп — учителям и суп-каша — себе. Составляем акт.

Она долго пишет акт. Мы подписываем его и уходим, искренне сожалея о том, что она так и не раздала нам найденное.

Я бегу домой. Дел много. Я командир пожарной команды, и у нас дежурства по дому на крыше. Первое, что нам, мальчишкам поручил домком — это очистка чердака от хлама, как первое противопожарное средство. И мы привычной футбольной командой истово беремся за дело. Чердак нашего дома, на котором накопился всякий хлам со времени основания дома, был настоящими Авгиевыми конюшнями. Чего там только не было! Старые железные кровати, матрасы с торчащими пружинами, деревянные ящики, связки бумаг, покрытых толстым слоем пыли, стулья без сидений, сломанные керосинки, дырявые чайники и примуса — весь ненужный домашний скарб, выброшенный за ненадобностью и накопившийся за несколько десятилетий, мы должны были разгрести, вытащить во двор и сложить в большую кучу.

Это была работа! Мою команду составляли мальчишки помладше меня: Игорь Романов, Толька Пономарев, Колька Яблоков, Витька Медведев и еще какие-то пацаны, имен которых я не запомнил. Но я помню, с каким азартом мы работали, как тащили железные кровати, как разбивали топорами диванные доски, все в густых клубах пыли, и целые дни вверх-вниз по лестницам: — разборка в полутьме чердака и сползание вниз с громоздкой неуклюжей поклажей. Мы все ходили чумазые, как черти, с черными от пыли лицами, по которым струйки пота прокладывали светлые дорожки, но никто не бросал работы. Мы были горды и преисполнены ощущением нужности своего дела, мы работали на себя, на свой дом, на Ленинград, ясно отдавая себе отчет в полезности нашего дела, чтобы чердак был чист на случай бомбежки зажигательными бомбами. Куча во дворе росла, чердак понемногу освобождался. Каждый день, прибежав из школы и что-нибудь перехватив, я сбегал во двор и созывал всю свою команду. И опять мы неутомимо носились вверх-вниз по лестницам.

Наконец наступил день, когда чердак опустел. С удивлением осматривал я невысокое странное полутемное помещение. Тусклый свет проникал сквозь полукруглые люки — выходы на

крыши. Потолок с темными балками — стропилами — двумя плоскостями под углом спускался к черному полу, разделенными на отсеки поперечными балками. Теперь мы ведрами таскали сюда густую белую известковую краску и закрашивали все изнутри. Эта краска — противопожарное покрытие; окрашенное ею дерево не горит — так, во всяком случае вещают все противопожарные плакаты с белым заголовком на фоне огня «Как бороться с зажигательными бомбами». На плакатах — люди в нарядных синих комбинезонах. В руках у них длинные клещи, в которых зажата небольшая черная бомба, полыхающая желтым пламенем. Рядом — изображение бомбы в разрезе и принцип ее действия. Бомбу полагается засыпать песком. Его к нам во двор привозит трехтонка. Мы помогаем разгружать ее, потом забрасываем песок наверх и раскидываем его по углам. Нам выдают пожарный инвентарь: ведра, багры, длинные клещи и два красных огнетушителя вместе плакатом-инструкцией, как им пользоваться. Мы устанавливаем все на местах, любуемся своей работой и наведенным порядком. Все. Мы к бомбежке готовы. С любой зажигалкой справимся. Пусть фрицы летят. С любой зажигалкой… А если фугаски?

Мы вылезаем на крышу и расползаемся по ней. Как здесь интересно! Красноватые скаты крыши, покрытые кровельным железом довольно плоские. Посередине, на гребне крыше, через каждые пять-шесть метров прямоугольные закопченные трубы — выходы печного отопления. У края крыши бортик — узкая кромка кровельного железа. Осторожно подхожу к нему и заглядываю вниз. Ух, как далеко до булыжной мостовой! Да и вся наша третья Красноармейская с крыши совсем другая. С гребня крыши виден весь город, город новый и неузнаваемый. Нескончаемые ряды крыш, уходящих в горизонте и теряющихся в дымке. Заводские трубы в районе Обводного канала. Справа, почти рядом, голубеют купола собора на проспекте Красных командиров. Высокие трубы у горизонта. Сколько их? Раз, два… восемь… шестнадцать — весь город в кольце заводских труб. Слева, впритык к нашему дому, — громада корпуса ЛИСИ. На его крыше люди с противогазными сумками и повязками на рукавах — это пожарная команда института, студенты и преподаватели.

Над городом чистое голубое небо с перистыми облачками. Тишина. Солнце теплом обдает лицо. Звонки трамваев с Международного… Неужели все-таки будут бомбежки?

Дома меня встречает встревоженная мама.

— Где ты был?

— На крыше.

— Как? На самой крыше? Зачем?

— Мы все закончили на чердаке. Надо было осмотреть объект.

— Оттуда можно свалиться! Прошу тебя — не ходи больше на крышу!

— Мам, я буду ходить на крышу. Я отвечаю за пожарную команду. С завтрашнего дня у нас ежедневные дежурства по крыше.

— Дежурства? По крыше? — Мама в ужасе.

Восьмое сентября. С утра завыли сирены и по радио прозвучало: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны города! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Хватаю противогаз и под вопли мамы бегу на крышу. Ребята уже там. Все возбуждены. Разбираем багры, клещи и ждем. Прерывистые гудки заводов, вой сирен. Потом издали доносятся прерывистые ухающие звуки — стреляют зенитные орудия. Вдалеке слева в небе возникают быстро тающие клочки — облачка. Потом по диагонали над нашим домом довольно низко проносится одинокий самолет. Наш? Немец?

Откуда-то издалека начинают доноситься глухие тяжелые удары. Они не приближаются, но нарастают по частоте. Гамма звуков с каждой минутой становиться разнообразнее и богаче. Снова ухают зенитки. Кучевые всплески серых хлопков-дымков смещаются вправо и становятся более близкими. Над нами с гулом проносятся еще два самолета. Прилепясь к трубам, мы зачарованно смотрим на необыкновенное зрелище. И вдруг осеняет: Это же всерьез, это же война, это же немцы бомбят Ленинград! Все чаще, теперь уже непрерывно, бьют зенитки. Небо вокруг становится похожим на решето от их темных точечных проколов. Вдалеке на горизонте мы замечаем в небе группу темных точек, движущихся в нашу сторону, и, как в кинокадрах, возникают взрывы с огнем и дымом под ними… Где же наши истребители, наши знаменитые «ястребки»? Где-то невдалеке раздается сильный взрыв. Пламя и дым на месте падения бомбы. Где это? На Обводном? На Седьмой Красноармейской?

Ссыпаемся с крыши на чердак, чтобы не сбило ударной волной. Стоим в полумраке, пытаясь угадать происходящее по звукам. Бомбят уже совсем рядом вокруг нас. Гул самолетов. Вой летящих бомб, глухие и мощные удары. Отчаянный лай зениток. Все это сливается в общий грохот, сквозь который прорывается звенящий детский голос: «Зажигалка!». В углу чердака ослепительное голубоватое пламя… Зажигалка! На нашем чердаке! Вперед! Толпой мчимся к черному продолговатому предмету, из которого с треском и шипением выплескиваются в

разные стороны струи рассыпающихся огней-блесток. Фосфор!

Тушить песком! Быстро! Закидывай здесь! Лопаты мелькают в наших руках. Еще вспыхивают отдельные искры, но все-таки мы справились. Потушили. Главным тут сразу оказался маленький чернявый Витька Медведев. Это он первый заметил бомбу, первым вступил с ней бой — стал засыпать песком. И мы, возбужденные и чумазые, хлопаем его и трясем от радости.

Между тем грохот сверху вроде бы затих. Издалека еще доносятся залпы зениток, но и они слышны все реже. Мы решаемся вылезти на крышу. Перед нами открывается фантастическая картина. Полнеба с юга занимают тяжелые густые красно-оранжевые облака, тянущиеся от горизонта. Они медленно ползут, меняя форму и очертания, красными ватными хлопьями темно-фиолетовыми густыми тенями, резко очерченные чистой голубизной неба. Внизу справа, в районе проспекта Майорова и дальше, к Невскому, горят несколько домов. Впереди, слева над Фрунзенским универмагом тоже характерные дымы, но все они темные, серо-пепельные, непохожие на те, что сплошной пеленой нависли над ними. Что это горит? Почему такое кроваво-красное одеяло над городом?

Дома я застаю всю семью, кроме Лили. Все встревожены, растеряны, угрюмы. Перебрасываются короткими репликами. Меня встречают, как заново рожденного. Я возбужденно рассказываю о наших подвигах, о зажигалке, о Витьке Медведеве, о красивых разноцветных облаках.

— Откуда шли облака? — спрашивает папа.

— С юга. Вернее, юго-востока. По всему горизонту.

— С юго-востока, — повторяет папа, — с юго-востока.

Он достает он достает одну из своих синек — районов Ленинграда.

— Уж не Бадаевские ли это склады?

— А что это за склады?

— Склады с продовольствием. Там много продовольствия, очень много. Это один из крупнейших складов, — взволнованно повторяет папа. Взгляд его из под пенсне встревожен и угрюм. Мне не понятна его реакция. Подумаешь, какие-то склады! Тут столько домов горит, сколько, наверное, людей погибло, а он почему-то стоит у окна и молчит…

Прибегает соседка Фаня Кушак.

— Вы слышали? Дом на пятой — до фундамента! Сплошные развалины. В ЛИСИ попало несколько зажигалок. Там потушили. И еще, говорят, немцы разбомбили Бадаевские склады…

— Бадаевские склады! Тысячи тонн сахара… Мука. Масло. Хлеб… — папа произносит это тихо, не глядя на нас. А мы стоим

рядом, пораженные даже не сутью сказанного, а тоном сказанного им и его видом. Что это он так разволновался? Ну будет хуже с продуктами. Ничего, переживем. Лишь бы немцев отогнали…

Откуда нам было знать, что сегодняшняя бомбежка практически решила судьбу Ленинграда, в том числе и нашу, что начинается самая страшная полоса нашей жизни, что Ленинград полностью окружен и блокирован, что муки в городе осталось всего на семнадцать дней, что на Бадаевских складах погибло две с половиной тонн сахара и что черную землю, пропитанную этим сахаром, будут в декабре продавать на рынке по сто рублей за стакан; откуда нам было знать, что немцы, уверенные в том, что взятие Ленинграда — вопрос дней, назначили генерала Кнута комендантом Ленинграда и торжественный банкет в «Астории» должен был состояться уже два месяца назад — 21 июля… Разве могли мы предугадать размеры бедствия, обрушившегося на наш город? Разве могли мы вообразить, что нам предстоит?

Мы боялись бомбежек, мы боялись немецкого вторжения. Пристально следя за сводками, мы ужасались стремительности немецкого наступления. Не успев преодолеть, годами вколачиваемую в нас убежденность в непобедимости Красной Армии, мы все еще надеялись на чудо. Каждый раз, с замиранием сердца слушая начало военной сводки, истово ждали перелома, того, что и должно, что обязано было произойти — коренного перелома и решительного контрнаступления Красной Армии. Разве могли мы тогда представить, что настанет время, когда голод настолько истощит наши тела и нашу психику, что сделает нас равнодушными к нашим военным успехам и неудачам, а кусок хлеба, размером в два спичечных коробка станет в наших больных мозгах значительнее всего остального и заслонит смертельную опасность немецкого вторжения?… А пока мы просто стояли рядом с отцом в окружении всех привычных и родных предметов — наших картин, нашей мебели, фотографий, висящих на своих обычных местах, занавесок на окнах и мирно тикающих часов в высоком дубовом шкафу.

Мы сидим вчетвером, укрывшись от обстрела в ванной комнате: я, папа, мама, и наш сосед Савелий Кушак, высокий красивый старик с большими голубыми глазами и окладистой белой бородой. Я просматриваю книгу художника Лепикаша «Акварель»; мама сидит, пригорюнившись в уголке, а папа и Кушак ведут беседу. Кушак рассказывает о своей жизни, папа изредка вставляет одно-два слова, и я, под равномерной звук падающих капель из крана, ощущаю точность папиных определений, ясность логики и отмечаю, что его реплики

являются четкими берегами ограничивающими многословную речь Кушака. Поток его слов послушно меняет направление, следуя поворотам и изгибам папиной ясной мысли.

Постепенно книга пересиливает и переключает меня на иное, более интересное. Автор рассказывает о тайнах мастерства акварели, о специфике акварельной техники, иллюстрирует текст своими работами. Метод его строг и прост. Сначала делается точный рисунок свинцовым карандашом, затем тонко, прозрачно заливаются все локальные пятна. На одной странице нарисовано карандашом чучело утки, на другой та же утка предстает уже в цвете, но как бы под папиросной бумагой. Второй этап — усиление цвета вторым заливом, до окончательного звучания. Третий рисунок — законченная работа: красивая утка с синей головой, белым воротничком на шее и оранжевыми лапами. Как просто и как недостижимо!

На следующих страницах автор усложняет задачу: показывает принцип работы над пейзажем, и в конце демонстрируется самое сложное — портрет человека. Тонкий линейный рисунок старушки в платке. Морщинистое лицо, усталые добрые глаза, набрякшие веки… Как это здорово!

Хочется попробовать. Хочется рисовать. Чтобы так же, не хуже. Чтобы тоже портрет. Или пейзаж. Или чучело утки. Но ведь за этой простотой, за этой точной линией большая школа, годы труда, длительная практика…

Все это несбыточно, нереально, все, как прекрасный сон, то ли в прошлом, то ли в будущем.

А пока так же капает вода в медную ванну, так же равномерно катится речь голубоглазого старика, белеют мелом стены, стоит медная колонка с чугунной дверцей с выпуклыми буквами «Санкт-Петербург» на ней, и мы сидим вчетвером и ждем конца тревоги…

У нас в семье всегда существовал культ отца, созданный и тщательно поддерживаемый мамой. Папа всегда был как бы на пьедестале. Ему предоставлялась «военная тропа». Дом и все дела и заботы, связанные с ним были исключительно прерогативой мамы. Она же в основном занималась и нашим воспитанием. Мимоходом, незаметно в рассказах о своем отце, в пословицах и поговорках, которых она знала бесчисленное количество, мама закладывала в нас нравственные основы: не тронь чужого, слабому помоги, падающего поддержи, перед сильным не клонись, если не можешь идти вершинами, иди подножиями, ничто так дешево не стоит и ничто так дорого не ценится, как человеческое внимание, и т. д…

Уроженка Люблина и воспитанная дедом, получившим образование в Германии, мама владела польским и немецким, как русским, и всю жизнь переживала, не находя применения своим знаниям. Она была живым, остроумным и бесконечно добрым человеком с критическим складом ума и народным здравомыслием.

У папы была блестящая память, он был широко образован. С детства у нас, детей, была непоколебимая, многократно подтвержденная уверенность в том, что он может ответить на любой вопрос из истории, литературы, географии и техники. И вообще на любой вопрос. Эта уверенность не была поколеблена и во взрослые наши годы.

Много лет спустя мы с архитектором Н. Г. Эйсмонтом трудились над проектом памятника «300 лет воссоединения Украины с Россией». Николай Гелиодорович сам был эрудитом и человеком высокой культуры. По ходу работы у нас с ним возник вопрос из истории воссоединения, и он по привычке полез в справочники и энциклопедии, но, к своему разочарованию, не нашел там ответа. Тогда я предложил разрешить вопрос простым способом — позвонить папе. Мы позвонили и тут же получили четкий, аргументированный и подтвержденный ссылками на авторов ответ. Николай Гелиодорович был поражен не столько сутью ответа, сколько моей незыблемой уверенностью в том, что папа ответит на любой вопрос.

В своей профессии, в своем деле папа был асом. Он всегда был либо ведущим инженером, либо главным, либо руководителем проекта; его всегда приглашали на экспертизу самых сложных технических вопросов по водоснабжению Ленинграда. Он владел редкой способностью множить и делить в уме многозначные числа, чем развлекался на работе и дома, удивляя окружающих. Молодые инженеры иногда подначивали его:

— Самсон Львович! Сколько будет 278 умножить на 26?

Ответ давался моментально и всегда совпадал с последующей проверкой на логарифмической линейке.

Он любил шахматы, книги и покой. Читал постоянно и хорошо знал классическую и современную литературу.

Октябрь

С первого числа снова уменьшили норму хлеба. Уже в третий раз. Теперь папа по рабочей карточке получает 400 граммов, а мы все — по 200. Дома стало голодно. На крупяные и масляные талоны почти ничего не выдают. Теперь мы ежедневно вспоминаем, что еще месяц-полтора тому назад могли бы что-то закупить, насушить сухарей, но ничего не предприняли, наивно надеясь, что дальше хуже не будет… Мама приносит с Сенного рынка килограмм соевых бобов, выменянный на шерстяной джемпер, и мы пируем два дня и удивляемся, почему мы никогда раньше не ели такой прекрасной пищи.

Теперь у нас на всех килограмм хлеба на день. Это примерно три четверти буханки. Мама по утрам делит хлеб на две части: одну половину прячет в буфет на вечер: а другую делит на равные куски к завтраку. Пайка хлеба и стакан кипятку с ложечкой сахара — так начинается наш день.

Чтобы отвлечься от голодных мыслей о еде, я слоняюсь по квартире в поисках занятия. Нахожу кусок хозяйственного мыла, сжимаю его, скатываю шарики и неожиданно убеждаюсь в его пластичности. Из него можно лепить. Ага! Идея приходит сразу, и через два часа я показываю маме две фигурки — толстых и смешных человечков — Добчинского и Бобчинского. Мирра тоже принимает участие в обсуждении, потом предлагает мне пойти погулять.

— Куда?

— Да недалеко, там, около Звенигородской, есть одно интересное место…

Я сразу соглашаюсь, потому что всегда рад побыть, поговорить с Миррой, а уж если она зовет на что-то интересное, то не зря. На Загородном проспекте, рядом с кинотеатром «Правда» Мирра подводит меня к дверям столовой, и мы встаем в длинную очередь. Сначала стоим на улице, потом постепенно продвигаемся внутрь и оказываемся в большом зале. Вкусно пахнет. Мы занимаем освободившиеся места, и официантка приносит нам две большие тарелки дымящегося супа из соевых бобов. Вкуснота необыкновенная! Суп съеден, и тарелка вычищена маленьким кусочком хлеба, случайно оказавшемся в Миррином кармане. Мирра заказывает еще две тарелки и сливает суп в бидончик. Для мамы и папы. Я смотрю на нее во все глаза. Надо же, как она здорово придумала. Мы теперь сюда будем ходить каждый день!

На другой день я уже сам тормошу ее: Бросай все! Пошли за

супом!

Мы быстро минуем Витебский вокзал, я подгоняю Миру, — надо скорее встать в очередь. Вчерашняя тарелка с коричневатой жидкостью с поблескивающими на ней блестками жира и ложка, полная упругих солоноватых бобов стоят у меня перед глазами. И я еще сильнее тяну Мирру за рукав и в предвкушении пиршества сглатываю набегающую слюну. Вот она Звенигородская. Вот и вход в столовую… Но что это? Где же очередь?.. Что такое? Мы поднимаемся в зал. Он полупуст.

— Супа больше нет, — говорит вчерашняя официантка.

— А что есть?

— Только чай. Сладкий.

Потерянные, мы стоим в унынии.

— Давай возьмем чай, — предлагает Мирра. — Ведь сахара дома тоже нет.

Наливаем полный двухлитровый бидон сладкого чая и медленно бредем домой.

Мы с Вовкой Петровым выходим из ворот школы, на Первой Красноармейской, и заходим в Гастроном на Международном. Прилавки пусты. Люди заходят и тут же выходят. Крупа пропала. Масла уже давно нет и в помине. Нет мяса. Нет практически ничего, чем были забиты витрины и полки еще три месяца тому назад. Народ голодает, и тревога незримо входит в каждую семью, в каждый дом. Неделю тому назад Лиля ездила на рытье окопов и привезла целый рюкзак капустных кочерыжек, оставленных в земле после сбора капусты. Она рассказала, что множество людей копается на этих полях, увозя огромные мешки кочерыжек и хряпы — верхних темных листьев капусты. Хряпа — ценнейший продукт. Мама долго возится на кухне и приготавливает нам две сковородки лепешек из нарубленных кочерыжек поджаренных на олифе. Это объедение мы растягиваем на два дня!

Мы с Вовкой заглядываем в булочную на Международном. С самого детства она называлась булочной «У Лора», названной так по имени ее дореволюционного владельца. Сейчас «У Лора» пусто. На полках темнеет ряд хлебных буханок и стоит продавщица в грязном халате.

— Крупы нет, мяса нет, — говорит Вовка, в точности повторяя мои мысли. — Что есть-то будем?

— Ну хлеб-то есть! А может быть его еще прибавят…

Мы выходим из булочной и нарываемся на удивительное зрелище. На углу Второй Красноармейской, посредине улицы, между зданием ЛИСИ и фабрикой игрушек, копошится толпа.

Люди внаклонку что-то делают, движутся, что-то рвут друг у друга из рук, кричат, ругаются, бегают вокруг, пытаясь вклиниться в общую кучу сосредоточенных согбенных спин. Подбегаем. На мостовой валяется павшая лошадь, вернее ее красно-бурые останки, нелепо растопыренные ноги с копытами, распластанный темный хвост на булыге, коричневая морда с сильно выпученным глазом, а в середине месиво из людей орудующих ножами. Люди толкают друг друга, поспешно засовывая отрезанные куски в кошелки. Руки у всех в красной жиже, глаза безумные. С криком «А ну, подвинься!» в толпу врезается мужичок в темном пиджаке и солдатской фуражке с топором в руках. Его пытаются оттолкнуть, но он подняв топор над головой, с диким криком «Зарублю!» — бросается в самую гущу снова. Народ шарахается, а он точными и хлестким ударами острого топора быстро выкраивает себе широкий кусок крупа и, молодцевато ухнув, закидывает добычу за плечо. Топор в руку, и он исчезает. Толпа снова смыкается над остатками туши.

— У тебя нож есть? — спрашивает Вовка.

Сирена!

Гудки заводов…

Бьют зенитки.

Мы бежим в бомбоубежище на Первую Красноармейскую под нарастающий грохот и прячемся в подвале небольшого серого здания, в котором раньше помещался народный банк. В бомбоубежище неожиданно тепло, довольно чисто, горит свет, по зеленым стенам — жгуты электрокабеля, деревянные лавки, противопожарные щиты, плакаты с наставлениями, как вести себя при бомбежке, план эвакуации на случай завала здания. На лавках люди. Старушка вяжет на спицах серую варежку, рядом с ней семья: высокий седой мужчина, женщина в зеленом пальто, на коленях ребенок. Мужчин мало, в основном — женщины, старые, молодые, все с кошелками, сумками или узлами.

Вовка достает большой темный сухарь и начинает грызть его. У меня спазм в желудке. Отхожу к стенке и начинаю изучать плакаты. Потом возвращаюсь с одной мыслю: может отломит? Сажусь рядом, молчу. Потом не выдерживаю и спрашиваю:

— Откуда сухарь-то?

— Отец дал. — Вовка спокойно отправляет остаток сухаря в рот и, дожевав, объясняет: — Отец — кровельщик. Буржуйки делает из кровельного железа. За буржуйки платят хлебом. А вчера дали десять сухарей.

Тикает метроном. Наверху еще, наверное, бомбят, но здесь не слышно.

— Отбой воздушной тревоги… Говорит штаб местной

противовоздушной обороны… Отбой…

Выходим на улицу. Что это? Вся улица, тротуары засыпаны белыми листками бумаги. Когда-то я видел что-то похожее… Когда встречали челюскинцев… Поднимаю листок. На нем фотография — улыбающиеся люди. Пригожая старушка, толстощекая женщина и кареглазый мальчик лет пяти. Сверху надпись: «Они хотят мира, они хотят жить!». Переворачиваю листок и с первых слов холодею от кощунственного, невозможного, неприемлемого смысла: «Кровавая сталинская власть принесла народу гибель и нищету. Красная Армия разбита. Победоносные немецкие войска полностью окружили Ленинград и готовятся к штурму Москвы. Граждане Ленинграда! В городе нет продовольствия! Сопротивление бесполезно! Уничтожайте политработников, коммунистов и евреев» Строки сливаются перед глазами. Фашистская сволочь! Я рву листки на мелкие клочки, поворачиваюсь к Вовке и вижу… что Вовка сгибает свою листовку пополам, потом вчетверо и бережно прячет в боковой карман.

— Вовка! Ты что?

— Да так, — говорит Вовка, глядя в сторону. — Может, пригодится. — Ты посмотри, что там, в конце.

Я обалдело поднимаю другой листок. Немецкий орел держит в лапах кружок со свастикой. Под ним крупно: «Пропуск». Затем более мелким шрифтом: «Каждый, кто предъявит пропуск немецким властям (каким властям?), получит трехразовое горячее питание и право на жизнь».

Я рву вторую листовку, третью… Но их кругом тысячи… Немецкий орел… Право на жизнь… Кровавая сталинская…

— Ну, я пошел, — говорит Вовка, поворачивается, и я вижу в последний раз его удаляющуюся спину. Он такой же, как всегда, маленький, крепкоголовый, с хорошими серыми глазами… Такой же, но уже совсем другой!

Господи! Ведь мы же с ним вместе вступали в пионеры, озорничали в классе, на перемене гоняли в футбол на школьном дворе, выпускали знаменитую классную газету «Заноза».

Он писал веселые и хорошие стихи… И листовка за пазухой.

«Уничтожайте коммунистов и евреев…»

Ноябрь

Вчера репродуктор объявил о новом уменьшении нормы хлеба. Двести пятьдесят граммов на рабочую карточку, сто двадцать пять — служащим, иждивенцам и детям… Радио мы не выключаем никогда. Черный круглый репродуктор появился в тридцать пятом году. Помню, как я прилип к этому чуду: Хенкин читал Зощенко! Теперь это самая важная вещь в нашем доме. Оттуда мы черпаем всю информацию: ежедневные сводки Информбюро, сообщения с фронтов, рассказы о подвигах наших летчиков, танкистов, разведчиков. Оттуда же часто звучит музыка, песни советских композиторов. Но самое главное, то, чего мы постоянно и напряженно ждем, — звук сирены и напряженный, нервный и торопящийся голос диктора: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Как правило, эта фраза звучит трижды, а потом начинает лихорадочно стучать метроном. Его легкие, сухие и частые щелчки раздаются на протяжении всего воздушного полета вплоть до желанных слов диктора: «Отбой воздушной тревоги!».

После отбоя метроном успокаивается и начинает щелкать в два раза реже, но звучит он круглосуточно.

Я ненавижу песню «Играй мой баян и скажи всем друзьям…», потому что существует какая-то фатальная закономерность: на каком-нибудь слоге этой песне обязательно прерывается звук, раздается знакомый щелчок и начинает выть сирена. За последние месяцы эту песню ни разу не успели исполнить до конца. Есть еще одна песня, вызывающая то же щемящее чувство — «На рейде ночном легла тишина…». Вот уже в который раз «тишина» заканчивается знакомым, как зубная боль воем, и у нас начинается суматоха. Мы хватаем подготовленную мамой сумку с оставшимся хлебом, накидываем пальто и под звонкий лай разрывов зенитных снарядов скатываемся вниз по лестнице на первый этаж, где на лестничной клетке собираются и жмутся жильцы верхних этажей. Кроме нас тут Яковкины и жильцы из шестой квартиры. У нас в доме нет бомбоубежища. Ближайшее — на Первой Красноармейской. Пока туда добежишь… После того, как мы впервые увидели руины дома на Пятой Красноармейской, мешанину из балок, кирпича, уцелевшую одинокую боковую стену с разноцветными прямоугольниками обоев каждого этажа и чудом прилепившуюся на выступе облома третьего этажа керосинку, мы решили, что оставаться наверху опаснее, чем быть внизу.

Сейчас мы все вместе сидим за обеденным столом при

тусклом свете коптилки. Коптилку и небольшую черную буржуйку, которая стоит у нас на плите в кухне, купила Мирра на Сенном рынке. На ней мы кипятим воду или греем какую-то еду. Коптилка — медный цилиндрик с припаянным к нему латунным конусом, из которого торчит фитилек, дает маленькое пламя с черным хвостом, высвечивая небольшой кружок на столе и пятна наших лиц. Мы ждем ужина.

Весь хлеб съеден с утра, дома холодрыга, но мы в радостном ожидании — мама готовит на кухне мучную кашу! Она сегодня была не Сенном, удачно сменяла скатерть на двести граммов хлеба и купила за двести пятьдесят рублей стакан белой муки. Это настоящая удача — белая мука и так недорого! Мы сидим за столом, а папа, прижавшись спиной к полутеплой печке, листает и читает вслух, на горе нам и неведомо откуда появившуюся старинную поваренную книгу «Экономная кухарка». Книга эта стала его любимой. И вот уже в который раз он, сгорбившись над ней и поблескивая стеклышками пенсне, читает: «Говядина под соусом из соленых рыжиков. Взять три фунта говядины, порезать тонкими кусочками, бросить в соленый кипяток, каждый кусок пересыпать тертым сыром, потом приготовить соус из сметаны и нашпиговать маринованными рыжиками…» — Нет, это не то… Вот это интересно, это я ел на Украине: жареные битки из телятины…. Кусок телятины мелко изрубить, положить сала, обсыпать сухариками…

— Папа, не надо, — вскидывается Мирра. — Невозможно слушать…

Папа замолкает на минуту. Пальцы его перелистывают несколько страниц, потом он оживленно восклицает:

— Вот, нашел! Пирожки малороссийские с творогом! Один фунт свежего творога…

Сирена. Воздушная тревога! Говорит штаб местной противовоздушной обороны… Мы хватаем пальто, дуем на коптилку и выскакиваем на лестницу. Гулко отдаются в лестничном пролете звонкие разрывы зенитных снарядов Где-то отдаленный грохот. Началось! Когда мы добегаем до первого этажа, там уже скопились темные тени — люди.

Вой, нарастающий вой, летящей где-то неподалеку бомбы. Бетонный пол под нами вздрагивает от тяжелого удара. Грохот заполняет лестничное пространство, рвет уши, вселяет ужас. Все мы инстинктивно пригибаемся к полу. Снова вой, снова грохот. Кто-то выскакивает на улицу и мы слышим крик:

— ЛИСИ горит! Фугаска попала! Рядом!

Я выбегаю тоже под крик мамы:

— Осколки! Осколки же летят!

Зарево над институтом. От его отблесков ярко алеет стена дома четыре, это напротив. Там живет Миррина подруга Зоя Веревкина. Черные проемы окон в красном вздрагивающем свете, звон вылетевших стекол. Люди мечутся по улице. Темные силуэты пожарников института тянут черную нитку шланга, и тонкая розовая струя перекрещивает бушующее пламя. Под ногами хрустит стекло и темнеют рваные осколки зенитных снарядов. Мирра втаскивает меня назад на лестницу. Зенитки перестали бить. Гудение самолетов над головами прекратилось, из открытых настежь открытых дверей слышен отбой.

Мы возвращаемся молча, подавленные. Папа обходит окна — все целы. Я чиркаю спичкой, и коптящий огонек высвечивает знакомый круг, за границами которого темнота.

— Таня, где же твоя каша? — вспоминает папа. — Сейчас она в самый раз.

Мама идет на кухню, и мы слышим ее жалобный вскрик. Бросаемся к ней. Она растерянно стоит около потухшей буржуйки с кастрюлькой в руках. В кастрюльке прозрачная водица…

— Что такое? Ведь я засыпала полстакана. Помешала, она загустела, но не закипела… Потом тревога… И вот… Что это?

— Где остальные полстакана? — спрашивает папа, разжигая еще теплую буржуйку. Мама еще раз наливает воду и высыпает остатки муки в нее. Мы все: Мирра, Ксеня, папа, я — стоим вокруг и, затаив дыхание ждем результата. Вода вскипает, белая густая масса бурлит и вдруг мгновенно становится прозрачной кипящей водой.

— Химия, — мрачно говорит папа и выливает нашу «мучную кашу» в раковину.

Молча мы расходимся по койкам. Снова звучит сирена. Снова визг бомб, грохот взрывов, зарево в окнах и постоянная мысль — как там Лиля? Пронесло ли? Жива ли?

Утром мы с Миррой выходим из дома и бредем к Сенной площади. Там сворачиваем у черно-золотой церкви на садовую и вдоль пустых трамвайных путей добираемся до бывшего Пажеского корпуса, где теперь расположен военный госпиталь номер семьдесят, где живет и работает Лиля.

Мы минуем красивую ажурную решетку Пажеского корпуса и сворачиваем в узкий двор, где находится проходная. Время и день прихода у нас точно обусловлены — Лиля на военном положении и ее выход регламентирован до минуты.

Вот она. В серой шинели, сапогах. Из-под нелепой ушанки радостные и беспокойные большие, красивые глаза. Мы обнимаемся. Короткий и торопливый диалог:

— Как вы?

— Как видишь, живы.

— Как ты?

— Нормально. Только ночь не спали — таскали раненых.

— А утром?

— Ну что ты! Утром обход, операции, уколы, перевязки… Бегите домой. Я больше не могу. Вот хлеб, вот каша.

Она протягивает нам пол-литровую банку с кашей, собранной за несколько дней — ее рацион. Обеды и завтраки. Она ест только супы. Все каши собирает в банки и выдает нам по средам и пятницам. Каша в банке многослойна и разноцветна: желтая пшенная, серая овсяная, белая манная. От хлеба мы пытаемся отказаться, но она просит, настаивает, требует. Ради мамы… В глазах и голосе слезы… И мы берем.

— Берегите маму, папу… Берегите себя… Я побежала…

Все. Никакой связи до будущей среды. И ежедневные бомбежки…

Мы с Миррой прячем драгоценную банку, выходим на улицу и думаем об одном: увидимся ли в следующую среду?

Милые мои сестры! В дни тяжелых испытаний, на грани жизни и смерти, каждая из вас отдавала свои душевные и физические силы для спасения меня от голодной смерти. Каждая жила и действовала в соответствии со своим характером, спецификой своего существа: Лиля — упорно, стоически, бескомпромиссно; Мирра — энергично, изобретательно, рискованно, все положив в пасть Молоху, вплоть до риска собственной жизнью и безопасности — чтобы я жил. Сумел ли я ответить за подаренную мне жизнь?

Вечер. Мама зажигает найденный где-то в комоде огарок свечи. Как здорово она светит! Ярко и без копоти. На вечер хватит, а дальше снова коптилка.

Звонок в дверь. Мы с мамой идем открывать. На пороге согбенный, в каком-то рванье, незнакомый старик.

— Вам кого? — спрашивает мама.

— Татьяна Максимовна! Вы меня не узнаете? Грюнбаум…

Старик, покачиваясь делает пару шагов в переднюю. Я приношу свечку.

— Грюнбаум? Михаил Захарович?

— Да, это я… Узнали? Я сам себя не узнаю…

Я стою, не двигаясь. Этот скрюченный старик, в рваной женской кофте, с темными пятнами на щеках, с кровью запекшейся на лысине, из которых торчат клоки седых волос, с вытаращенными безумными глазами, — это наш верхний сосед,

высокий дородный, всегда богато одетый, всегда надменный Грюнбаум…. Верится и не верится.

— Татьяна Максимовна! Ради бога! Кусок хлеба… Три дня ничего не ел…

Мама в растерянности.

— Михаил Захарович, проходите, сядьте. Я вам кипятку налью… Но хлеба у нас нет… Мы же все на карточках, так же, как и Вы…

— Татьяна Максимовна! Может тарелочку супа? Небольшую… Может корка, какая?..

— Нет у нас ничего, Михаил Захарович. Мы тоже голодаем… Вы же получаете хлеб по карточкам. Почему же вы три дня не ели?

— Все отобрали… Все карточки… Весь хлеб… Все… Мне не дают ни куска три дня…

— Кто отобрал? — спрашивает мама в ужасе. — Как это случилось? Почему Вы отдали?

Старик вскидывает опущенную голову. Рыдания душат его речь. Слезы обильно текут по лицу.

— Жена… Люська… Я ослаб… Сам за хлебом не хожу… Три дня не дают ни куска… Бьют меня, бьют каждый день… Что б ты сдох скорей… Они ушли сейчас… Я спустился к вам. Больше не к кому… Татьяна Максимовна, голубушка…

Дверь захлопывается. Я стою потрясенный… Мама, бессильно опустив руки, не стесняясь меня, плачет…

Декабрь

…Навсегда запомнились мне эти сутки. Вечером мы все стояли у полутеплой печки, плотно прижавшись. Спине тепло, груди холодно. Когда говоришь — изо рта пар. Папа опять вспоминает Украину, подовые пироги, творожники, бифштексы… Он говорит подробно и увлеченно. Ясно представляется большая беленая печь и хозяйка, вынимающая румяные, теплые, лоснящиеся от масла пироги из гречневой муки… Слюна течет. Тьфу, лучше бы он молчал… Мама с болью в глазах гладит его по голове, старается переключить. Он раздражается, сердится на нее…

Ксеня сидит в углу под телефоном: скулы обтянуты, нос заострился, взгляд бессмысленный, голова укутана черным шерстяным платком до глаз.

— Истопили бы мою печку, — говорит она тихо. Потом с трудом поднимается, бредет в Лилину комнату, ложится на диван и просит, чтобы я укрыл ее. Я натягиваю на нее оба одеяла и подтыкаю края с боков.

— Ты бы сходил к Липшицам, попросил бы для меня тарелочку супа, — просит она из под одеяла.

Я беру тарелку, выхожу на площадку и долго мнусь, переступая с ноги на ногу, перед коричневой дверью с номером 8, не решаясь постучать, а потом просить тарелку супа. Но ведь это не для меня, это для Ксени… Стучусь.

Мне открывает Женя, самая маленькая из всех сестер, а сейчас ставшая еще меньше, бледненькая, худенькая с испуганными глазами.

— Нет, супа у нас нет. Но стакан соевого молока я могу дать.

— Большое спасибо, это для Ксени. Если бы для себя, я бы не попросил, — третий раз говорю я и очень бережно, очень осторожно несу стакан с белой жидкостью к нам. Ксеня выпрастывает сухую желтую руку из-под одеяла, отливает половину в чашку и предлагает мне. Как трудно сказать «Нет», но я все же выдавливаю из себя это слово, а сам стою и жду — вдруг предложит еще раз. Нет не предлагает, только просит, чтобы я принес из кухни, из ящика стола хлеб, оставшийся у нее с утра, а половину взял себе. Отказаться от хлеба уже выше моих сил. Я иду на кухню, вынимаю из ящика обломанный с краев кусок, режу его ровно пополам и уже в коридоре, не доходя до Ксениной комнаты, проглатываю свою половину. Ксеня вялыми движениями макает хлеб в молоко, подносит его к беззубому рту и сосет его. Я выхожу.

Ночью она будит нас, зовет маму, меня. Мама встает, кутаясь в пальто, и идет в соседнюю комнату. Я слышу ее громкие вопросы и не слышу ответов Ксени. Мама возвращается и говорит: «Она проживет недолго…»

Ксеня лежит растрепанная, подняв лицо кверху, и что-то говорит. Слов нельзя разобрать — язык заплетается, рот полуоткрыт, изо рта вырываются шипящие звуки и хрип. Мама сажает ее на горшок. Я неуклюже помогаю. Потом мы укладываем ее. Она, умученная всей этой процедурой, вытягивается, закрывает глаза и вроде бы успокаивается.

Потом были холодные день, вечер, ночь и наступило утро. Холод в тот день был жуткий. Я ходил весь скрюченный, сгорбившись, вобрав голову и плечи Мучительно хотелось есть. Угнетала темень от синих, местами продырявленных штор и холодина в квартире. На кухне лопнула большая бутыль с водой, превратившейся в лед. Нужно было пойти на улицу поколоть дров — это была моя обычная работа, а я все медлил, все отсрочивал, обманывая сам себя. Наконец оделся. Какими медленными стали теперь движения… Как долго я надевал пальто… Какими тяжелыми оказываются эти два маленьких чурбана! На черной, лестнице среди пыли и хлам, остались еще три, последние. Значит еще одна полутеплая печка… А потом что? Спускаюсь вниз. Руки уже замерзли. Насколько могу быстро устанавливаю чурбаны на панели, покрытой тонким слоем снега. Удар. Чурбан падает. Поднимаю, опять ударяю колуном — и опять неудача. Надо быть сильнее и резче. Снова и снова поднимаю колун, снова поднимаю и ставлю в очередной раз падающие и неподдающиеся чурбаны и, наконец, добиваюсь своего — один кругляк разлетается на две плахи. Дальше — легче. Наконец расколото все. Я собираю охапку, прихватываю тяжелый колун и медленно, ступенька за ступенькой, взбираюсь по лестнице. На первом этаже, около квартиры Рогозиных охапка моя рассыпается, несколько поленьев падает на площадку. Я встаю на колени и собираю их, тщательно подгоняя полешко к полешку, чтобы лежали ровно. На втором этаже сердце начинает стучать учащенно. Я останавливаюсь, отдыхаю и, вдавливая ватные ноги в ступеньки, волокусь на свой третий. Вот и наша дверь.

Бросаю дрова в передней и, слегка отдышавшись, вхожу в Лилину комнату. Что это?! Ксеня лежит вытянувшись. Рот и глаза открыты. Мертвая. Не шевелится. В первый раз в жизни я вижу мертвеца. Мертвая Ксеня. Ксеня умерла… Но ведь она ела то же, что и мы. А как же теперь мама, папа, мы?.. Тоже?.. Выхожу в коридор и сталкиваюсь с мамой. Она поражает своей бледностью, худобой и синевой под глазами. Приходит Зоя Веревкина

Миррина одноклассница.

— А у меня дочка умерла сегодня. Понос от соевого молока, — почти без грусти сообщает она.

Зоя накладывает пятаки на Ксенины глаза и складывает на ее груди руки.

9 декабря. Музыка. Веселый бодрый марш. Ровный и торжественный голос диктора: «Говорит Ленинград! Говорит Ленинград! В последний час!» Мы бросаемся к репродуктору. Пауза. Скорее бы! Наше нетерпение растет с каждой секундой. «Удар наших войск южнее Ладожского озера. Седьмая армия под руководством генерала Мерецкова, успешно развивая наступление, прорвала немецкую оборону, не дав немецким войскам соединиться с финскими. Советские войска овладели городом Тихвин.»

Сначала не очень верится: вот уже около полугода радио приносит нам только одно горе, тревогу, горечь поражений и отступлений. Мелькнуло, правда, в августе слово «Ельня», но чем та мимолетная радость закончилась? Немецкие войска под Москвой, Ленинград в железном кольце… И вдруг острая, обжигающая мысль — неужели это тот самый прорыв блокады, о котором думано-передумано, о котором ленинградцы мечтали под бомбами и снарядами, в голоде и холоде? Неужели прорвана блокада — причина всех бед, обрушившихся на город и нашу семью? Теперь потоки продовольствия потекут в Ленинград, закончится голод, люди будут спасены и мы вместе со всеми…. В это утро все радостные, настроение у всех приподнятое.

Бегу за хлебом. В очереди незнакомые люди оживленно делятся услышанным, громкие голоса, оживление на лицах. Все это необычно: мы привыкли видеть угрюмые, серые лица, слышать брань, жалобы и горестные откровения. Главный вопрос:

— Хлеба не прибавили?

— Нет…

— Ну, теперь уже не долго!

— Скоро все хорошо будет…

К великому сожалению, все оказалось не так просто, и наши вспыхнувшие было надежды погасли так же быстро, как и родились. Тихвин был скоро оставлен снова… Вместе с надеждами угасли и люди. Каждый день уносит тысячи, а до прорыва блокады оставалось еще четыреста пять дней….

Просыпаюсь. Темно. Который час? Откидываю с головы тяжелое пальто, папину куртку с ног. Сразу же обдает холодом, как будто кто-то опускает меня в бак с холодной водой. Начинаю

лихорадочно одеваться, двигаюсь быстро, чтобы согреться. Изголовье моего дивана упирается в поставленный поперек моего дивана зеркальный шкаф. Папа поставил его как защиту от осколков возможной бомбы.

— Если влетит осколок он, прежде чем добраться до тебя должен будет пробить зеркало и две перегородки.

В темноте перехожу в столовую и, нащупав выключатель, машинально включаю свет. Что за чудо? Спираль в лампе слабо розовеет! Неужели дали свет? Ведь уже два месяца… Через две-три минуты спираль гаснет, с нею гаснет и моя надежда.

Я бужу Мирру, достаю из буфета карточки, крепко зажимая их в кулаке и мы выходим.

— Часа через два я сменю тебя, — говорит Мирра и исчезает в булочной.

Я подхожу к гастроному и вижу, что от его дверей уже тянется длинный хвост. Встаю последним и в уме начинаю высчитывать. Если выдадут консервы, сколько же это будет 75 процентов от количества наших мясных талонов? На конфетные талоны возьму ириски. Нет, лучше «Стратостат» — он сладкий, а в ирисках одна дуранда. Макароны бы выдали — вот был бы дома праздник!

За мной уже множество народа: конец очереди около кинотеатра «Знамя».

— Что давать будут?

— Не знаем. Ждем.

Люди встают и так же молча ждут, теснясь друг к другу. Идет мокрый снег. Руки в двойных варежках начинают мерзнуть. Очередь в два раза загибается во двор. Холодно. Светает. Стоящие впереди начинают нетерпеливо стучать в двери магазина. Наконец дверь открывается. И вся эта лавина, толкаясь и сшибая друг друга, врывается в помещение. Я вцепляюсь в пальто стоящей передо мной женщины. Толпа, напирая сзади, втискивает меня в магазин и отрывает от нее. Очередь внутри магазина загибается несколько раз и под напором толпы ломается и перемешивается. Наверное сотни две или три втиснуты в маленькое, около сорока метров помещение, а толпа снаружи продолжает давить так, что мы уже стоим как в трамвае, крепко вцепившись в переднего. Где-то заплакал ребенок. Давят так, что трудно дышать. Слышен истошный крик:

— Тише, ребенка задавите!

Никто не слушает. Прут. Из передних я оказываюсь в конце. Пробиться к кассе нет никакой возможности. Что дают, где дают, понять невозможно, — никто ничего не знает. Каждый старается восстановить свою утерянную в свалке очередь и встать поближе

к кассе. От этого происходит сутолока и перебранка. Наконец народ успокаивается и начинает требовать заведующего.

Я стою, прижатый к витрине кондитерского отдела. Под стеклом аккуратно разложены плитки эрзац шоколада и дурандовые конфеты «Акра». Какой у него соблазнительный вид, у шоколада! Если откусить кусочек, то сначала он твердый, потом начинает таять, и ароматная сладость растекается по рту… Шоколад только по детским карточкам. Нам его не полагается.

Двери в гастроном закрываются. Больше никого с улицы не пустят. Мирра опоздала меня сменить. Скорей бы хоть объявили, что дают! Наконец-то! Выходит заведующий и говорит, что крупа не получена, мяса нет, макарон тоже нет. Взрыв возмущения. Никто не уходит. Все что-то требуют, что-то выкрикивают. Общий гул мешает что-либо понять. Я стою, как и все, в надежде — вдруг что-нибудь привезут. Стоять тошно, но и уйти страшно. А вдруг?.. Стоим. Молчим. Душно. Проходит час, может быть, два. Многие не выдерживают, уходят. Магазин пустеет. Я выхожу один из последних. Сталкиваюсь с Миррой. Быстрый понимающий взгляд.

— Возьми конфеты, хоть чай попьем со сладким.

Я с благодарностью смотрю на нее. Она всегда ровная, спокойная. Всегда готова делать любую работу. Никогда не говорит, что хочет есть.

Возвращаемся в магазин. Продавщица ножницами отхватывает зеленые квадратики талонов и сует нам кулек конфет. По дороге домой съедаем по штучке. Сладости никакой, одна дуранда.

Дома беру свой кусочек хлеба и замечаю, что он больше, чем обычно.

— Мам, кто делил хлеб?

— Мирра.

— У вас были обычные куски?

— Да, даже чуть-чуть побольше. Мирра сказала, что сегодня выпечка лучше и хлеб суше.

Я смотрю на свой кусок. Мокрый, зеленоватый, корочка отстала. Мякиш, как и вчера, можно намазывать на корку. Я поднимаю глаза. Мирра улыбается.

— Да, хлеб сегодня лучшей выпечки. Разве ты не видишь?

— Неправда! Покажи свой кусок!

— Я уже его съела.

— Не ври! Ты наверное отрезала себе граммов двадцать…

— У меня был точно такой же, не мудри.

Вижу, что врет. Хорошо, приму свои меры. Отрезаю от своей пайки четвертушку и незаметно кладу ее на шкаф. Вечером «случайно» найду ее и разделю на всех к чаю или супу. Быстро

проглатываю остаток, заедая дурандовой конфетой, и иду в школу.

Наша школа еще работает. В классе одиноко тулятся пять-шесть парт, на окнах рваные маскировочные шторы. Несколько ребят в пальто и шапках жмутся к камину, в котором шипя тлеют сырые дрова. Разговоры обычные.

— В нашем магазине давали пшено, но нам не хватило.

— А нас соседка умерла, а в ее шкафчике мать нашла с полкило муки и пять плиток дуранды.

— Сестра конины достала. Вот поели мясного!

— В этом месяце вообще отоваривать не будут…

— Наша соседка пять кошек съела…

Входит учительница истории. Мы разбредаемся по партам. Учительница тоже в пальто и в шапке, повязанной сверху платком. Говорит она тихо. Видно, что говорить ей трудно. Она просит записывать даты. Рука в варежке неловко скользит по блокноту. Пар изо рта. Накатывается какая-то вялость отупение. Вставать при ответе не хочется. Впрочем учительница и не настаивает на этом. Куда-то уплывает ее речь, теряется смысл сказанного. Почему? Или она говорит непонятно, или я плохо соображаю. Пожалуй, что я. До конца, вернее до супа, еще один урок — военное дело. Скорей бы он кончился. Скорей бы в столовую… Перемену сижу, не вставая, не меняя положение, — так уютнее. Звонок. Входит военрук, высокий, худой и жутко нервный человек. Мы его боимся после того, как на предыдущем уроке, когда мы недружно и замедленно встали после его команды, он вдруг весь побелел, затрясся и, выкатив белые от бешенства глаза, прорычал-прохрипел, срывая связки:

— Встаааать! Встать! — мы вскакиваем, как ошпаренные. — За мной в физкультурный класс шагом марш!

В нашем физкультурном классе, где еще в прошлом году мы так любили бегать, прыгать через козла, лазить по желтым шведским стенкам под строгие окрики и команды наше любимой Татьяны Захаровны, свирепый холод. Здесь не топили уже с начала войны, и пар от нашего маленького и неровного строя белыми дымкам вырывается из наших ртов.

— Бегом марш! — командует военрук.

Какое там! Я пытаюсь бежать и с удивлением ощущаю, что не могу…. Странно… Пробую еще и еще раз и снова убеждаюсь — не могу. Ноги не бегут. Впрочем, и остальные не лучше: ковыляют, делают усилия, но это не бег…

Звонок. В столовой нам дают горячую мутную воду с плавающими там листочками хряпы. Согреваюсь и несу домой в бидончике еще четыре тарелки этого «супа».

У дверей меня встречает мама. К ней подходит военрук и о чем-то ее спрашивает. Подхожу ближе.

— Вы не знаете — в свечах нет ничего питательного? Я съел дома все свечи…

Мама что-то отвечает ему, и мы выходим из школы.

— …Съел свечи, — бормочет мама, — Господи, неужели и мы дойдем до такого?..

Дома мы застаем папу. Он необычно рано пришел со службы и со смущением говорит, что ему там нечего делать: половины сотрудников нет, канализация и водопровод в городе практически вышли из строя, восстанавливать некому и…

На следующий день моя очередь идти за хлебом. В сотый раз ощупываю-проверяю — карточки в перчатке. Убеждаюсь, что они на месте и успокаиваюсь. В этот день, 25 декабря, увеличили норму хлеба. Теперь папа получает 300 граммов, а все мы по двести. Встав в очередь, я отдаю карточки и деньги и неотрывно слежу за тем, как она ножницами ловко отрезает розовые хлебные талоны, а потом режет и взвешивает хлеб. 900 граммов хлеба, — это чуть больше половины буханки плюс довесок с полпальца. Прячу хлеб в сумку, потом дважды пересматриваю вырезку талонов. Все правильно. Карточки в перчатку, довесок в рот. Поворачиваюсь — и останавливаюсь. Передо мной падает человек. Народ замолкает. Я наклоняюсь над ним: скулы обтянуты, рот открыт глаза тоже. Как у Ксени. Какая-то женщина, выходя из булочной роняет:

— Все. Не дождался.

Я выхожу вслед за ней, заглядываю в сумку, проверяя там ли хлеб. В этом пористом сером куске — жизнь. Он-то и решил судьбу этого человека. И вдруг я весь холодею и застываю на месте. Рука без перчатки и без карточек! Что делать? Ведь это смерть! Смерть для всех нас… Вернуться в булочную? Спросить. — бессмысленно: тот, кто нашел, не отдаст… Кричать? Кого? Что делать? Лихорадочно шарю в сумке, в карманах… О, Господи! Вот она, варежка! В кармане! А в ней карточки!

Весь потный прислоняюсь к стене — нужно отдышаться… Сжимаю карточки до боли в руке. Скорей бы домой! Надо успеть до папиного ухода на работу.

Дома неожиданность. Меня встречают улыбками и сообщают потрясающую новость: получено письмо от Гаррика, Мирриного мужа, и посылка с продуктами с фронта. Папа радостно открывает посылку, в ней консервы, сахар, шпроты и белые сухари. И мы устраиваем пир, о каком даже не смели мечтать! По случаю такого праздника я не иду в школу, а папа на работу. Баночку со шпротами мы уничтожаем сразу. Из мясных консервов

мама варит суп со сногсшибающим запахом. Сухари с общего согласия прячет далеко в буфет. На потом.

Темное тусклое утро. Дневной свет пробивается сквозь щели зашторенных окон. Раньше мы по утрам поднимали синие шторы, скручивая их в трубку, а к вечеру опускали, чтобы можно было зажечь свет. Теперь ни у кого на это нет ни желания, ни сил. Да и электричества тоже нет. Поэтому все дни у нас темные: до полудня — бледный свет, проникающий сквозь щели окон, во второй половине дня — дрожащее слабое пламя коптилок, маленьких белых фаянсовых баночек с камфарным маслом. Керосин у нас давно кончился, но по чьему-то доброму совету мы успели закупить штук тридцать баночек с этим маслом, и теперь освещаемся аптечным светом, который больше пахнет, чем светит.

Утром мы собираемся за завтраком. Втискиваемся в узкое пространство между стенками и письменным столом, на котором теперь едим, и приступаем к обычной трапезе. Мирра принесла на все наши карточки треть буханки, и папа аккуратно разрезает ее на четыре ровные кусочка. Пайка одиноко лежит на ладони и кажется невесомой. Мама приносит из кухни студень и ставит на стол горчицу и соль. Студень она варила из плиток столярного клея. Говорят, что в нем сохранился белок. Наверное, эта правда, потому что в мясе много белка, а столярный клей делается из костей скота, значит, какая-то польза есть в этом резко пахнущем желе, которое мы называем студнем, а если приправить его горчицей и посыпать солью, то получается даже вкусно. Клей у нас кончается, но зато горчицы очень много: месяц тому назад мама закупила единственное, что осталось на полках, — банки с горчицей. После завтрака все расходятся по своим делам, а я иду за водой.

С водой целая эпопея. Кран на кухне давно сухой. Трубы перелопались от мороза, весь дом ходит с ведрами. Месяц тому назад мы ходили за водой во двор, где в подвальном помещении прачечной работал водоразбор, единственный на весь дом. Потом и там замерзла вода, и теперь ближайшая вода во дворе дома 5/8 на улице Егорова. Вода — это моя забота. Я надеваю поверх куртки, в которой сплю, пиджак, потом напяливаю пальто, заматываюсь шарфом, надеваю ушанку, варежки и выхожу на улицу. Какой резкий свет! И мороз какой! Сразу начинает щипать щеки, нос, подбородок. Позвякивая ведром, я медленно бреду между высоких, загаженных сугробов. Поворот. На углу дома 5/8 знакомое окно. Здесь живет мой приятель Шурик Королев. До войны он учился в Академии Художеств.

Все ленинградские окна с осени заклеены белыми Х-

образными крестами из бумажных лент, чтобы не выбило стекла воздушной волной. У Шурика окно особое: он выклеено ажурным орнаментом, имитирующим рисунок средневекового витража. Сверху в полуциркульной раме, традиционная роза из бумажных лент; снизу — орнаментальные кружева. Сразу видно, что здесь живет художник.

Арка двора. Под аркой дверь. Три ступеньки вниз. Темнота. Где-то журчит вода из открытого крана. И вдруг в нос шибает сильный резкий запах жареного мяса! Я застываю на месте. Где-то здесь, рядом, в какой-то подвальной комнате жарят конину! Стены, кран, до которого я добрался почти что на ощупь, плывут перед глазами. Я сажусь на приступок. Кружится голова. Запах, мучительный запах раздирает ноздри, сушит глотку, вызывая спазм, боль в желудке… Надо скорее уходить. Невозможно оставаться здесь ни минуты. Резко встаю, добираюсь до крана подставляю ведро. До чего же медленно течет слабенькая, с карандаш толщиной, струйка… Журчит вода…. Под краном — лед горкой. Опять поплыло… Полведра есть. Хватит, больше все равно не донести. Выбираюсь на морозный воздух. Как светло и ярко вокруг! Тяжелое ведро тянет руку. Назад идти труднее, хотя и подгоняет мороз. Но проклятый запах не исчез. Я весь пропитан им. Конина… Мясо… Лучше не думать.

Дома я отношу ведро на кухню. Раздеваюсь и приступаю к поиску. Сколько хлебных корок залежалось у нас в буфете до войны! На кухне в столах валялись какие-то отбросы, очистки картошки, в коробках с елочными игрушками могли затеряться конфеты… Вот она, коробка… Флажки, шарики, бусы, золотой дождик… мандариновая корка.! Ура! Сухая мандариновая корка! Она тает во рту. Я не жую ее, а сосу, продлевая удовольствие. А руки сами шарят дальше… Все. А черный ход? Там стояли помойные ведра и хранилась картошка. Неужели ничего не найду?

Мандариновая корка растаяла, оставив во рту непередаваемый вкус. И я бросаюсь в столовую, выдвигаю ящики столов, тщательно обследую все уголки и закоулки буфета, книжные полки, заглядываю в плиту, в топки печей (мы когда-то, балуясь, пекли в них картошку). Полная пустота. Умные люди до войны делали запасы. Мы, наверное, никогда не были умными людьми. Поэтому голод мы встретили с пустыми шкафами. А ведь как было просто — пойти на улицу и купить два-три килограмма крупы. Или пять батонов…

Кажется, еще никогда я так не хотел есть, как сегодня. Память четко восстанавливает форму, цвет, запах, размер продуктов, связанных с конкретными местами. И каждый раз,

открывая новый ящик, я с надеждой протягиваю руку. И натыкаюсь на пустоту…

Черный ход. Грязь, хлам. Остатки коры от бывших дров. Старая керосинка. Топор. Лопата. Выброшенная электроплитка без шнура. Стоп! На плитке что-то прилипло. Вытаскиваю ее к свету — что-то стекловидное, зеленоватое. Монпансье! Это же монпансье, остатки! Я их плавил когда-то на плитке для своих ребячьих дел. Бережно отскребаю драгоценные зеленоватые стеклышки — блаженная сладость растекается во рту… Забытые ощущение — вкус и запах! Все-таки не зря я проискал целое утро…

Постепенно происходят разительные изменения в наших интересах к событиям окружающего нас мира. С самого первого дня войны я постоянно делал вырезки из «Ленинградской правды»: сообщения Главного командования, сводки Информбюро, ежедневно отмечал флажками изменения линии фронта. Вырезок накопилась целая куча: часть их я хранил у себя на столе, другую прикреплял гвоздем к стене.

Но со временем все меняется. Газеты перестают приходить, так как носить их некому: почтальоны, наверное, вымерли. Да и наш интерес к событием на фронте начинает бледнеть в сравнении с интересом к нормам продуктов. Голод притупляет сознание, бомбежки и обстрелы становятся привычными, а наш интерес к радио сводится, в основном, к мучительному ожиданию прорыва блокады и связанной с этим надеждой на выживание от голода.

Дни идут. С каждом днем все труднее становятся утренние походы за хлебом. Однажды, возвратившись домой, я застаю необычную сцену: папа и мама ссорятся. Это настолько невероятно, что я, опустив сумку с хлебом на пол, застываю в дверях и молча наблюдаю происходящее. Они стоят напротив друг друга и, бурно жестикулируя, кричат друг на друга в повышенном, ни на что не похожем тоне. Меня не замечают. Между ними на полу груда старинных книг, вываленных из раскрытого книжного шкафа. Стеклянные дверцы настежь. Несколько книг разорвано. Отдельно валяются темно-зеленые коленкоровые обложки с золотым тиснением, оторванные с мясом от пухлых томов… Постепенно до меня доходит смысл происходящего.

— Что ты делаешь? Ты сошел с ума! — кричит мама. — как можно топить печку книгами?

— А чем мне прикажешь топить? Что еще можно сжечь? Стол мы сожгли, стулья тоже. Угловой шкаф сожжен еще месяц назад…

Чем топить? Или сдыхать от холода?

— Но это же Шиллер! Это же папины книги! Вон там дарственная надпись мне от него! Что ты делаешь? Опомнись.!

— К черту книги! — исступленно кричит папа. Он хватает очередной том, подносит его к лицу мамы и яростно рвет на ее глазах.

— К черту Шиллера! Будь проклято все! Будь проклято!..

Мне становится страшно. Он безумен в гневе. Еще минута, — и он ударит маму. Или произойдет что-нибудь еще хуже. Я бросаюсь к маме, обнимаю ее и загораживаю от отца. Минуту папа окаменело стоит с поднятым томом, потом швыряет на пол и большими шагами выходит из комнаты.

Мама, маленькая, с лицом залитыми слезами, в изнеможении садится на диван.

— Боже, что с ним стало? Он же никогда таким не был! Боже! Помоги ему и всем нам!..

Тридцать первое декабря 1941 года.

Новый год. Праздничное освещение — три баночки с камфарой и огарок свечи. По блюдцам аккуратно разложены кусочки хлеба, сбереженные с утра специально для встречи Нового Года. Кипяток разбелен соевым молоком — подарком Лены Липшиц. Из нашей аптечки извлекаются прибереженные к Новому году три бутылочки пертуссина — это же чистый сахарный сироп. Пертуссин разливается в вынутые из глубин буфета хрустальные рюмочки. При свете свечи он сверкает на просвет красным рубином, как настоящее вино.

Часы в нашем темном дубовом шкафу торжественно бьют полночь… Папа поднимает рюмку и произносит тост:

— Ну, чтобы все мы остались живы!

— И чтобы в новом году кончилась война! — добавляет Мирра.

— И чтобы мы счастливо жили все вместе, и чтобы наша голубка была с нами, — произносит мама.

«И чтобы прорвали блокаду и было много-много еды», — мысленно добавляю я.

Мы чокаемся и медленно, крохотными глоточками пьем холодный и очень сладкий пертуссин. Закусываем хлебом.

Каждый наш тост звучит, как молитва, как заклинание. И каждый из нас ощущает нереальность, несбыточность своего пожелания, обращенного куда-то туда, наверх, к каким-то сверхъестественным силам, к судьбе, может быть, к Богу, потому что больше надеяться не на кого. Слишком мал шанс на осуществление наших желаний. Почти до конца исчерпан лимит

надежд. Слишком тяжел психологический пресс, который давит на нас уже четыре месяца. Бьют часы час ночи. Каждый из нас, не раздеваясь, залезает в свою постель, под груду всевозможного тряпья, чтобы согреться во сне и уйти, убежать от страшной, беспросветной действительности.

Январь

Я лежу в черной суконной куртке и брюках под двумя одеялами и накинутым поверх их моим пальто и папиной кожаной курткой.

Вот уже неделя, как я не хожу за хлебом, за водой. Я вообще не хожу. Это случилось, когда, притащив на наш проклятый третий этаж полведра воды, я сполз на пол рядом с ведром и протянул папе окоченевшие скрюченные пальцы. Он содрал с меня жесткие варежки, покрытые панцирем льдинок, обмотал руки сухим одеялом, помог мне подняться, дотащил до моего дивана. Там я свалился и с тех пор не встаю. Ноги не только не ходят, они не стоят. Мне трудно двигаться. Мысли медленно и тягуче расползаются. Острое чувство голода притупилось.

Дома холодрыга. Печку мы давно не топим. Разломанный и распиленный на чурки наш большой обеденный стол расходуется только на подогревание пищи на буржуйке.

Теперь, когда я свалился, все домашние заботы и связь с внешним миром — на Мирре. Мы все уже давно не раздеваемся ни днем, ни ночью. Мы обовшивели… Откуда вши? Их никогда не было. Папа говорит — из очередей. Да и моемся мы редко и плохо. Мыться ледяной водой — пытка. Мы и так все время мерзнем. Холод сковывает, тормозит наши движения, наши поступки и действия. Инстинктивно мы остерегаемся притрагиваться к металлическим предметам, только по необходимости выходим на стылую кухню. Туалет уже давно не работает и мы пользуемся стоящим в ванной ведром, которое раз в день выносится на улицу и выливается в открытый канализационный люк. Когда я еще ходил, это было моей обязанностью. Подходить к люку и противно и опасно: все пространство вокруг него — сплошные неровные наледи из содержимого не донесенных или опрокинутых подобных нашему ведер. По обе стороны узкой скользкой протоптанной тропинки высокие грязные желто-коричневые сугробы.

Мама и Мирра встревожено хлопочут вокруг меня: приносят мне хлеб и наше обычное утреннее блюдо — студень из столярного клея. У нас есть еще в запасе несколько таких плиток, — Мирра выменяла их на барахолке за какое-то тряпье. Я ем вяло. Меня клонит в сон, одолевает дремота. Я отключаюсь. И тусклые дни, похожие один на другой, сменяются такими же ночами. В минуты просветления, я отдаю себе отчет, к чему идет дело. Меня страшит неотвратимость наступающего итога, и в то же время я не представляю себе реальности грядущего и упорно

твержу про себя: «Этого не может быть, этого не может быть, этого быть не может…» Как же так? Сегодня я есть, а завтра уже без меня, жизнь потечет дальше в этой маленькой и тесной комнате с четырьмя установленными, как в вагоне, койками, с темным окном, закрытой шторой, которую уже давно никто не открывает, но сквозь дыры и щелки которой брезжит тусклый свет?..

— Мальчик, проснись. Дай твою руку.

И мамин голос:

— Левушка, открой глаза, врач пришел.

Передо мною худенькая, небольшого роста и неопределенного возраста женщина с глубоко запавшими глазами, в темном пальто с меховым воротником. Она засучивает мне рукав ледяными пальцами, измеряет давление. Потом я расстегиваюсь, и холодный кружок стетоскопа тихонько давит мне на грудь…

— У него ногти на ногах стали почему-то нарывать. Взгляните, какие синие.

— Цинга. Дистрофия. Чего же вы хотите, — быстро говорит докторша. — Оденьте его, укройте потеплее. Вы слышали, что они сделали? Ведь сегодня хлеба вообще не дали! Ужас какой-то!.. Что же дальше?..

Взгляд в мою сторону. Потухшие, скорбные глаза. Она встает.

— Ну что я могу сказать? Ваш мальчик не болен. Ваш мальчик голоден…

Удаляющиеся шаги по коридору. Она что-то продолжает говорить, но я уже не слышу ничего, только всхлипывания мамы.

После войны, в одну из минут откровения, Мирра вспомнила конец фразы, произнесенной тогда врачом: «Если не произойдет чуда, жить ему осталось три-четыре дня».

Утро следующего дня. Папа, сгорбившись, в сером ватнике, в валенках и нахлобученной на глаза черной меховой шапке, молча сидит за столом, отвернувшись от меня. Мама рядом. Она держит мою руку в своих полутеплых ладонях и гладит ее. Мы молчим. Мирра ушла куда-то. Почему-то ее долго нет. Мама пытается что-то рассказать мне. Но я дремлю и плохо улавливаю смысл ее слов. Она меня периодически будит. Мне это неприятно. Особенно мне тяжело встречаться с ней взглядом: она заглядывает мне в глаза с такой скорбью, с таким страданием, с такой мольбой, что мне становится не по себе — вроде бы я в чем-то виноват перед ней.

Звонок в дверь — и в комнату вбегает, нет врывается Мирра, возбужденная, радостная, активная.

— У меня новости!

Она потрошит сумку и вынимает из нее какие-то необыкновенные вещи:

— Левушка, вот тебе белый сухарь! Вот еще один — папе! А это нам с тобой, мамочка — один на двоих!

— Откуда? — Мама всплескивает руками, — Откуда это?

— Это еще не все! Вот две витаминные плитки. Их нужно нарубить на куски и принимать от цинги. А вот две свечки, настоящие, из белого парафина. А это тебе прислал, папа, Яков Бенедиктович для подкрепления.

Мирра торжественно выкладывает на стол пачку табака и двухсотграммовую бутылочку с медицинским спиртом!

Я с изумлением рассматриваю толстый пористый пшеничный квадрат шириной в всю буханку. Белого хлеба мы уже не видели полгода, если не считать тех нескольких сухарей из посылки Гаррика, присланной месяц назад. Отгрызаю, отламываю кусок и сосу его с наслаждением, одновременно слушая Миррин рассказ.

— Я узнала, что Яков Бенедиктович, Полин муж, работает в стационаре на Обводном канале. Он там заведует аптекой. Сейчас в городе открыто несколько таких больниц для дистрофиков. Обещал узнать у начальства, можно ли положить туда папу и Леву. Там дают усиленное питание! Вы слышите? Усиленное питание! Завтра я побегу туда снова и приду с ответом. А пока он дал мне все это с собой. Сухари — его собственные. Свечи он делает для больниц сам, отливает их в бумажные цилиндрики… Он обо всех расспрашивал, обещал помочь. Поля с Гришей в эвакуации, а он живет в больнице, ночует у себя в аптеке. Он говорит, что стационары только что открылись и люди там оживают…

— Мирра, я же не хожу. Если даже нас туда примут, как я туда доберусь?

— Я тебя отвезу на санках. Я все придумала. Мы тебя тепло оденем, спустим вниз, посадим на саночки, и я отвезу тебя в стационар. Папа, ты сможешь сам дойти до Обводного?

Мы собираемся в дорогу. Мама с Миррой укутывают меня, обняв за плечи, выводят на лестницу. Держась за перила, мы медленно спускаемся вниз. Около парадной меня ждет папа и стоят мои детские санки с привязанной к ним веревкой. Полусижу, полулежу в них. Мирра укрывает меня одеялом, привязывает веревкой, и мы трогаемся в путь. После домашней полутьмы глаза жмурятся от непривычного света. Мимо плывут высокие сугробы, впереди мелькают Миррины полусапожки и высокие серые папины валенки. Мы минуем нашу улицу, и на проспект Красных Командиров сворачиваем налево, к

Варшавскому вокзалу. Двигаемся с остановками. Папа держится за Мирру, часто останавливается. Ему трудно. Дойдет ли? А вдруг упадет, что тогда? Ведь ему уже пятьдесят пять, он уже стар…

Февраль

Стационар. Огромный зал, в котором установлено, наверное, сотня коек. Нас с папой помещают рядом. Между нами тумбочка, куда мы складываем наше имущество: ложки, бумагу для писем, карандаши и стеклянную баночку, захваченную мной с особой целью.

В нашем ряду от окон до противоположной стены коек двадцать, а рядов всего десять или двенадцать. В нескольких местах зала установлены большие буржуйки с черными трубами, выходящими через окна на улицу. Около них оживление, толпятся сгорбленные, худые фигуры, подкидывают чурки, греют руки. Большинство коек занято лежачими. Я тоже лежачий. В зале относительно тепло. Я с интересом разглядываю новую обстановку. Сколько же здесь доходяг! Старые и молодые, лысые и волосатые, низкорослые и высокие — все они похожи друг на друга как люди одного племени, — все они истощенные дистрофичные, с неуверенными движениями, замедленной походкой и серыми лицами, на которых ввалились глаза обтянулись кожей скулы, носы и подбородки.

Наступает главный момент дня — обед. Все расползаются по койкам, а в дверях появляется старшая сестра с помощницами, стопки тарелок на столике с колесиками и какие-то котлы, к которым приковано всеобщее внимание. У котлов движение — понесли порции первым рядам, вторым, третьим. Наконец, очередь доходит идо нас. Мы с папой получаем роскошный обед: тарелка крупяного супа, по четыреста граммов хлеба каждому, а на второе настоящая мясная паровая котлета! Я ее не жую, а сосу, отрывая маленькие благоухающие кусочки с непередаваемым, удивительным, забытым вкусом. На третье (!) блюдо нам приносят стаканы с зеленоватой, пахнущей сосной жидкостью. Это витамин «С». Соседи говорят, что этот противоцинготный напиток из сосновых иголок открыл какой-то ленинградский профессор.

Вечер. Темнеют окна. Светятся красные жерла буржуек. Пахнет жареным хлебом: Многие подсушивают, поджаривают свой хлеб на горячем железе. Темные тени с горящими лучинками в руках движутся по залу. Огоньки вспыхивают у буржуек и растекаются по разным углам, высвечивая прямоугольники коек, гаснут и снова возникают, как светлячки в лесу.

Ужин. Снова роскошный. Настоящая пшенная каша с шершавыми желтыми крупинками и… по пятьдесят граммов вина! Вот это уже настоящее чудо! Папа одним глотком

разделывается со своим вином, а я сливаю свое в кашу. Потрясающая вкуснота, и внутри становится тепло.

Ночь.

Темнота.

Храп, стоны, кто-то слабым голосом зовет сестру. Движутся, встречаясь и расходясь, светляки лучинок. И вдруг крик! В нашем ряду — истошный и пронзительный:

— Он ушел недавно! Верните! Я не хочу… Я не буду… Почему трупы? Почему трупы?..

На койках зашевелились. Поднимаются с подушек головы, лучики-светлячки начинают движение к центру, и в их неровном мелькающем свете я вижу, справа от меня, примерно с шестой койки, встает огромный белый человек в очках с воздетыми к небу руками. Это из его разверстого рта несется бессмысленный отчаянный крик, взбудораживший всю палату.

Прибегают сестры. Они пытаются уложить кричащего, но он исступленно расталкивает их, и над темным встревоженным залом несется его безумный вопль:

— Я архитектор… Я вас не знаю!.. Верните его! У меня рост Петра Великого…

— Сошел с ума, говорит папа. — Психика не справилась. Надо помочь уложить его.

Он встает и направляется вглубь зала, туда, где происходит суматоха. Белые халаты вперемешку с темными тенями возятся у койки обезумевшего. Вспыхивающие лучинки выхватывают из мрака темный длинный предмет — носилки, глухой шум борьбы, выкрики…

Четверо, сопровождаемые факельным шествием, выносят человека из палаты.

Папа возвращается и ложится. Мы пытаемся заснуть. В темноте голос:

— Не донесли до изолятора. Отдал концы на носилках…

К утру еще двоих выносят из палаты. Они умерли тихо.

Наступает другой день, и третий. Каждое утро я ссыпаю свою ложку сахарного песка в банку, чтобы отдать Мирре, когда она придет. К нам не пускают, но мы обмениваемся записками, которые папа приносит из приемного покоя. Я жадно набрасываюсь на эти листки, исписанные знакомым красивым учительским почерком. «Мой родной! У нас все благополучно. Мы здоровы и относительно сыты. О нас беспокоиться не следует, надо поправиться тебе и папе. Сегодня мы с мамой приготовили на завтрак поджаренный хлеб и мучную кашу. Вчера я принесла от Лили немного рисовой плюс твоя школьная тарелка супа — вместе что-то дают, оставляя чувство сытости надолго. А я вообще

в этом смысле счастливица — есть не хочется. У Лили все нормально. Я счастлива, что эти дни она полностью ела свой обед — ей тоже надо немного окрепнуть. Она дала мне 700 граммов хлеба, 50 грамм масла и 35 грамм песку, так что мы вчера пировали. Кончаю. Тороплюсь к вам. Любящая тебя сестра. 10 февраля 1942 г.». И другая записка. Такой же знакомый, но другой, детский почерк. «Братик мой! Ты будешь спасен, ты поправишься, ты силен духом, спаси нам папу, поддерживай его морально, не давай ему быть угрюмым, говори с ним. Будь здоров, дорогой, не могу много писать. Целую тебя. Лиля. 9 февраля 1942 г.».

После очередного утреннего обхода врач прописывает мне адонис — сердечное. Странно, ведь у меня ничего не болит, только слабость. Впрочем, я замечаю некоторые сдвиги: мне уже не хочется, как в первые дни, только лежать на койке; я уже сажусь, спускаю ноги и пробую встать. Пока безуспешно — кружится голова. Но появилось желание, а это уже что-то. Люди в палате неразговорчивы, замкнуты, сосредоточены на себе. Слова и мысли только о еде, самочувствии, карточках. Изредка кто-нибудь упоминает о положении на фронтах. Старик, в темном пиджаке, с замотанным синим шарфом горлом, присаживается к папе на кровать.

— Самсон Львович! Вы меня узнаете?

Пауза. Папа вглядывается, пытается вспомнить, потом смущенно качает головой.

— Мы работали с вами в «Дорводмосте».

Он называет себя, папа узнает его. И начинается разговор.

— Почему в январе два дня вообще не давали хлеба?

— Остановилась 5-я ГЭС. Кончился уголь, Вода перестала поступать на хлебозавод.

— Как же наладили?

— Ведрами таскали. А угля и сейчас нет. Дровами топят. Разобрали деревянные дома по окраинам и топят.

— Надолго ли хватит?

— Кто знает. Я свалился две недели тому назад. Привезли сюда на санках, как покойника. Сейчас хожу.

— Дров нет, а огня много. Пожары каждый день. Откуда пожары? Немец сейчас вроде бы поутих, не стреляет.

— Постреливает.

— От буржуек больше. Топят мебелью, не следят. Или затопят, а сами свалятся, заснут. Так и сгорают.

— Электричества нет, угля нет, воды нет, еды нет, — перечисляет папа.

— Электричество есть. Для Смольного. И еда есть, и вода…

— Как ваша семья, Иван Степанович? Где они — здесь или уехали?

Старик молчит. Греет руки меж острых колен. Я жду ответа. Папа поворачивает заросшую седой щетину голову, некоторое время смотрит на соседа, потом отворачивается.

Старик медленно поднимается и, опираясь на спинки кроватей, ковыляет к своей койке.

— Что же ты спрашиваешь? — вырывается у меня, — Разве можно сейчас такое спрашивать?

— Помнится, жил на Карповке, — как-то невпопад роняет папа. — Трое детей…

Среди многообразных звуков — стонов, ругани, бессвязного бормотания умирающих, глухих, тусклых и унылых голосов — меня уже несколько дней удивляет и привлекает громкий и уверенный бас справа. Он перекрывает остальные голоса и шумы в палате не только мощью своих голосовых связок, но и бодрыми оптимистическими интонациями и главное — сутью. До меня долетают обрывки фраз, кажущихся чем-то невероятным в этой обстановке.

— Нет, это не так! — уверенно и авторитетно утверждает голос. — Джотто родился значительно раньше Леонардо. Лет на двести. Джотто стоял у истоков раннего Ренессанса. Его воспитывали такие литературные титаны, как Данте, Петрарка, Боккаччо. Король обращался с ним, как с равным. Это была крупная фигура. Но он был пигмеем по сравнению с Леонардо, который…

— Папа, кто это?

— Это архитектор Шольп, друг того, который сошел с ума.

— Ты можешь меня довести до него?

Я спускаю ноги с койки и с папиной помощью, держась за спинки кроватей, дохожу до Шольпа. Вокруг него, как всегда, несколько человек, ловящих каждое его слово.

Шольп поворачивается ко мне. У него интересное лицо, умные серые глаза, густая шевелюра и вообще он не похож на дистрофика.

— А вот и мальчик пришел нас послушать, — говорит он приветливо, как будто мы с ним знакомы, — Ты школьник?

— Да.

— А чем ты увлекаешься?

Дикий вопрос… Чем увлекаюсь?.. Хлебом увлекаюсь. Кашей… Берегу тепло… Маме сахар коплю… Вот на ноги встал… Здесь моя мысль обрывается, и я тупо молчу.

— Он рисует, — вмешивается папа. — До войны занимался лепкой во Дворце пионеров.

— Вот как? — оживляется Шольп. — Так ты хочешь стать скульптором?

Нет, он определенно ненормальный. Такой же, как его друг «Петр Великий»…

Хочу ли я стать скульптором? Я выжить хочу. Хочу сил набраться. Чтобы ноги ходили, а ногти не нарывали и не сходили с пальцев. Чтобы все мои родные выжили среди этого ада. Чтобы хлеба прибавили. И чтобы кончилась война…

— Значит, мы с тобой коллеги, — уверенно объявляет Шольп. — Скульптура и архитектура — родные сестры, у которых одна общая мать — искусство.

Он, конечно, ненормальный, но поток его речи чарует и захватывает. И я сижу, открыв рот, ловлю каждое его слово.

— Ты бывал в Эрмитаже?

— Много раз. У нас от дворца там был кружок по искусству. Нас водила по залам и рассказывала о скульптуре… Жаннета Андреевна Мацулевич. Удивительное дело! Из каких уголков памяти прорвалось это имя? Почему тут же поплыли перед глазами стройная торжественная колоннада, боковой яркий свет из широких окон на Неву и беломраморные статуи над широкой парадной лестницей? Как давно это было? В далеком детстве? Или всего год назад?..

— Кого из скульпторов ты любишь?

— Канову.

Вокруг нас собирается ходячий народ. До обеда еще далеко, а голос Шольпа как магнитом притягивает каждого, кто имеет уши. Я тоже весь во власти его гипноза — иначе это не назовешь, но при этом замечаю странность: живое лицо, «довоенная» мимика, убедительная жестикуляция больших красивых рук и полная неподвижность от пояса. Что-то с ногами?

— Великолепный скульптор. Жил при папе Пии Седьмом. Классик. Блестящий, может быть, лучший в мире, мастер резьбы по камню. Все работы выполнены из каррарского мрамора. Непревзойденный шедевр «Амур и Психея» — наши, эрмитажные. Помнишь?

— Конечно! Скульптура, как кружево из мрамора.

— В центре Копенгагена, — продолжает Шольп, — стоит музей знаменитого датского скульптора Торвальдсена — единомышленника и одновременно оппонента Кановы. Титан. После себя оставил сотни великолепных скульптур. Они заполонили все три этажа музея, стены которого облицованы красным полированным итальянским мрамором. И на этом фоне его работы из каррарского, белого с тепловатым оттенком…

— Обед принесли! Обед!

Мы расходимся, расползаемся по койкам, и я фиксирую сразу два чуда. Во-первых, сказка, нарисованная Шольпом, меня настолько увлекла, что я забыл о предстоящем обеде! И во-вторых — я хожу! Я ХОЖУ!

Март

Солнце бьет в окна. Мы переселились из маленькой Лилиной комнаты, где ютились всю эту страшную зиму, в спальную. Тетя Нехама — соседка, жена водопроводчика дяди Яши (дворовое прозвище Шындер-Мындер-Трубка) пришла как-то к нам и энергично вмешалась в нашу жизнь — перенесла нашу буржуйку в спальную, постелила под ней серебристый цинковый лист и установила трубу в топку нашей белой кафельной печи. Сразу стало просторно, уютно, хорошо.

Буржуйка — центр нашей жизни, источник тепла, предмет нашего внимания и постоянной заботы. Ржавая, коричневая, с раскаленной трубой, она весело потрескивает, немного дымит, но греет комнату, помогая солнечным лучам. Как это мы раньше не догадались переехать и облегчить себе жизнь? Папа снял ватник, простер руки над буржуйкой, сидит неподвижно, наслаждается теплом. Мама что-то готовит? Мирра появляется с улицы и с порога радостно возвещает:

— Отгадайте, что я принесла?

И, не дождавшись ответа, извлекает из сумки и торжественно водружает на стол буханку белого хлеба с ярко-коричневой верхней коркой!

— Откуда?

— Оттуда. Из пекарни. — И, встретив наши недоуменные взгляды:

— Не волнуйтесь, мне подарили.

Мы не о чем не расспрашиваем. Мы уже знаем, что Мирра способна на чудеса, и с радостью набрасываемся на очередное чудо. Мама режет буханку пополам. Одну половину прячет «на потом», а другую мы съедаем сразу, жадно впиваясь в ломти ароматного мягкого сладковатого белого хлеба. Мирра, отломив себе корочку, остаток ломтя подсовывает мне и стоит рядом, счастливая. Она очень похудела за зиму, на щеках румянец, голос бодрый, она шутит и смеется. Она хороша собой, своей энергией, своей подвижностью, своей бодростью. Я верю в нее, любуюсь ею, я люблю ее больше всех, дальше больше мамы. Ведь это благодаря ей я живу, хожу, вижу солнечный свет, думаю, существую. Сколько мне тогда, в январе оставалось до конца? А она сотворила чудо.

А сейчас я хожу! Правда, болят цинготные ноги. Правда, с пальцев сошли ногти. Правда, я худ, как щепка, а под глазами непроходящие сине-зеленые полумесяцы. Но я живу!

Сейчас, весной, когда мы вышли из полосы длинных темных

ночей, сменяющих короткие серые дни, из замкнутого пространства узкой комнаты и немного ожили, круг наших интересов расширился до масштаба дома. У нас в квартире снова стали появляться люди. Оставшиеся люди. Заходит наша благодетельница тетя Нехама, в прошлом полная женщина с басовитым голосом и черными усиками над верхней губой, Зоя Веревкина, Фанька Кушак. В разговорах главные темы: нормы выдачи продуктов, перечисление умерших в доме, рассказы о пережитом, о разбомбленных домах на Шестой Красноармейской, на Двенадцатой, на Обводном, на Загородном. К нам врывается тот внешний мир, в котором мы пока не живем.

В который раз до нас доходят слухи о случаях людоедства, о растущем бандитизме, о нападениях на людей, выкупивших по карточкам продукты. Такую сцену я сам видел в конце ноября, когда еще ходил в магазин. Пожилая женщина, получившая в очереди передо мной кулек дурандовых «соевых» конфет и полбуханки хлеба, бережно уложила все в сумку и вышла из магазина. Следом за ней вышел и я. Она ковыляла медленно, прижимая к груди сверток. И вдруг к ней метнулась тень. Парнишка лет пятнадцати вырвал сверток и, припадая, побежал в проходной двор. Женщина отчаянно закричала и побежала за ним. Они оба бежали на ватных ногах, но парнишка бежал быстрее и скрылся за углом.

Тетя Нехама рассказывает случай, когда трехлетняя девочка, играя с ножницами, расстригла оставленные без присмотра карточки. Случилось это в начале января. К концу февраля вся семья вымерла.

Дом наш за зиму опустел. Вымерли все Ивановы. Опустела соседняя квартира № 6. Осиротели Ранневы. Умер Грюнбаум. Пустуют целые квартиры. Многие пропали без вести. Отдельным семьям удалось осенью эвакуироваться.

Новые слова — «дорога жизни», «эвакуация», все чаще звучат в нашем доме. С весной закопошился, ожил притихший муравейник. Оставшиеся в живых бросают обжитые насиженные места и уезжают — эвакуируются.

— Надо уезжать, настойчиво, в который раз повторяет Фанька. — Самсон Львович, почему вы не едете? Что нас ждет здесь? Не сегодня — завтра попадем под обстрел, под бомбежку… Этой крупой, что стали давать по столовой ложке, разве всех накормишь? Уж если мы здесь такое пережили, разве там может быть хуже?

— Куда ехать? — сердится папа. — Я обезножен, он обезножен, Татьяна Максимовна слаба… Как мы поедем? Куда? Кому и где мы нужны?

— Но там же хоть смерть не висит каждый день над головой, — не сдается Фанька, — Смотрите, наши отогнали немца под Москвой, а под Ленинградом он стоит, и что тут будет, неизвестно…

Папа устало машет рукой. Разговор окончен. Он не любит Фаньку, и она раздражает его своим напором.

Действительно, куда ехать? И как? Отъезд представляется мне чем-то смутным, тревожным и невероятным. Если я с трудом начал выходить на улицу, если не в состоянии ничего носить, таскать, помогать, как мы поедем? Папа молчит. Маму эти разговоры пугают и нервируют. Мирра решительно за отъезд. Она, как всегда, берет на себя всю ношу и всю ответственность. Странно убеждаться в том, как переменились роли в семье. Папа, чье слово всегда было свято, чье мнение было законом, сейчас вроде бы отошел на второй план. Лидером семьи стала Мирра. Она нас всех ведет, объединяет, кормит, спасает. Она всегда бодра, энергична, сильна. Она ни на что не жалуется, никогда не ропщет, не плачется. Она всегда на подхвате, на подъеме, всегда в действии, ее энергией мы живем.

Вбегает Фанька. Она всегда в курсе всех событий, этакое домашнее радио. Выглядит неплохо. Ее муж — офицер, всю блокаду воевал где-то под Ленинградом, постоянно подкидывал ей свой паек.

— Вы слышали, что сказала Люська Грюнбаум во дворе? — спрашивает она, стоя на пороге. — Она сказала, что если немцы возьмут Ленинград, она первая покажет все еврейские квартиры! Как вам это нравится?

— Люська? Вот сволочь! Так это правду говорили мальчишки, что Грюнбаумы — немцы?

— Сам Грюнбаум был такой же немец, как и мы с вами, — объясняет всезнающая Фанька. — А жена его — немка. А Люська — невесть кто…

— Невесть кто? Сволочь она! Побить бы ей стекла, врезать бы по толстой морде…

Я вскакиваю, делаю два быстрых шага, и мои пыл и возмущение сразу же гаснут. С такими ногами и нынешними силами не докинуть камня даже до второго этажа, а уж до четвертого…

Перебирая свои старые вещи, я случайно натыкаюсь на альбом для рисования. Давненько я не брал в руки карандаша… А не нарисовать ли мне себя? Сажусь перед зеркалом. Рисую долго и тщательно, После часа рисования отрываюсь от карандаша и резинки и оцениваю свой «шедевр». Сходства я не добился, однако что-то заставляет меня не разорвать рисунок сразу, а

оставить хотя бы на время. С листа на меня смотрит незнакомый мальчик в черной куртке, с тонкой шеей, смотрит хмуро, исподлобья. Глаза запали. Под ними темные полукружья. Это не я. Кто же это? Ответ прост. Это я — блокадник.

Между тем у нас происходит событие. К нам в гости приходит известная всему дому могущественная личность — сама Тоська Раннева. До войны ее никто не знал. Она жила вместе с дочерью в маленькой комнате во дворе. Сейчас ее знает весь дом. Ее расположения добиваются, перед ней заискивают, ее дружбы ищут. Секрет ее могущества прост — она работает в пекарне на Второй Красноармейской. Здоровая крупная баба из скромной труженицы быстро превратилась в человека с мертвой хваткой. Ее практичности, деловитости и наступательной энергии можно только удивляться.

Пекарня сохранила ей силы, обеспечила важными знакомствами и связями, открыла перед ней нужные ворота. На фоне общей беды и постепенного опустения дома, она добилась официального разрешения переселения из своей темной комнаты в просторную и светлую квартиру Раулинатов на четвертом этаже по парадной лестнице. Переезд осуществился в начале марта. А сейчас Тоська обставляется — скупает за продукты приглянувшуюся ей мебель у оставшихся в живых. Действует она широко и напористо, не боясь огласки или осуждения.

В сопровождении мамы и Мирры она неторопливо прогуливается по комнатам, ведет дружеский соседский разговор, интересуется моим здоровьем, шутит. Потом за ней захлопывается дверь, и до меня доносятся отголоски разговора.

— Нет, — говорит мама, — об этом не может быть и речи… Пианино за полтора кило? Это же грабеж!

— Мамочка! Но это же греча! Ты понимаешь — греча! Надо же поднимать их… Они оба еле ходят.

— Я понимаю. Ты же знаешь — я готова всю душу отдать… Но это пианино не просто пианино. Это же папа покупал для меня, это же память об отце.

— Мамочка! О чем ты говоришь? При чем тут память, когда надо спасать живых. И потом, ты говоришь, полтора кило. А белая буханка?

— Так это был аванс?

— А ты как думала? Сейчас такое время, когда так просто дарят белую буханку?

Через два дня четверо мужиков, подхватив наше пианино длинными поясами, вытаскивают его на площадку и уносят наверх, к Тоське. Сделка состоялась, и, по общему мнению, она очень удачна: два кило гречи плюс буханка плюс, плюс сто

рублей деньгами! Тоська — все-таки широкая натура! Впервые за год мы едим настоящую разварную ароматную кашу, смакуя каждое зернышко, а у нас еще много-много крупы — еще каш на пять хватит!

Май

1 мая мне исполняется шестнадцать лет, и через несколько дней я могу получить паспорт.

3 мая снова открывается школа. С первого же дня я спешу туда. Черный репродуктор сообщил, что школьникам будут выдавать ДШП — дополнительное школьное питание без карточек. Я иду налегке, без портфеля, без учебников, без тетрадок. Главное — встать на ДШП, а про занятия все в первый день расскажут. И вообще открытие школ носит чисто символический характер, хотя это и красиво звучит: Ленинград живет, Ленинград борется, Ленинград учится.

Как неузнаваемо изменилась школа! Нет ни обычного шума, ни гомона первых дней. Нет несущихся, дерущихся, орущих, снующих повсюду малышей. Нет празднично одетых к первому дню преподавателей. Нет переклички, развода по светлым, чистым, пахнущим свежей масляной краской, умытым классам. Нет волнений первых встреч с шумными и озорными друзьями. Где-то в холодных и грязных залах, неприветливых классах с частично забитыми фанерой окнами, с рваными картами и учебными пособиями, висящими на одном гвозде, жмутся к стенкам серые тени. Некоторые сидят за партами, неподвижно устремив глаза к дверям, некоторые, вроде меня, медленно ходят взад и вперед. Все мы какие-то неловкие, неуклюжие, неразговорчивые. Говорить не хочется, да и не о чем. Все мы ждем. В обтянувшихся лицах, заострившихся носах, в провалившихся глазах тоска и ожидание — когда же поведут в столовую?

Напряженная тишина взрывается грохотом распахивающейся двери. В класс вваливается, врывается с хохотом группа ребят во главе с Авкой Спиридоновым.

— Эй, Левка! Здорово! Живой?

— Здравствуй. Как видишь.

Меня поражает его здоровый, даже цветущий вид. Он в офицерских хромовых сапогах, на голове черная кепка; движения быстрые, он полон сил, энергии, говорит напористо, в каком-то новом залихватском тоне. Рослые ребята вокруг него так же отличаются от нас своим видом, все они какие-то упитанные, розовощекие, здоровые. И абсолютно довоенные.

— Вот это Левка из нашего класса, — говорит Авка высокому плотному парню с маленькими темными сверлящими глазками и недобрым выражением лица. — А это Гоша Финогенов, Витька Антонов, Володька. А Юрку узнал?

Узнал. Как не узнать. Юрка Поддубный, хулиганистый и вредный парень из нашего класса. Всегда отличался наглостью и жестокостью своих шуток, если их можно было считать шутками. Дрался лихо только с более слабыми, а наткнувшись на моего друга Колю Фукса, который в два счета набил ему морду, собрал компанию и вечером во дворе школы расправился с Колькой впятером. Юрка вырос, окреп и, если бы не наглая ухмылка, даже стал красивым.

Незнакомая маленькая седая учительница собирает нас, восьмиклассников, пересчитывает (нас двенадцать) и приглашает в столовую. Настает тот миг, которого мы так вожделенно ждали. Нам приносят размазанную по плоским тарелкам овсяную кашу и по стакану темно-розового киселя. Напротив меня сидит Авка. Я смотрю, как он лениво пробует овсянку, съедает одну ложку, потом быстро выпивает свой кисель и вдруг предлагает:

— Хочешь полкаши?

— Хочу. А ты почему не хочешь?

— Да наелся утром картошки. Каша не лезет.

Не веря своим ушам, я не выдерживаю и задаю нелепый вопрос:

— Картошки? Откуда?

— Батя привез, небрежно бросает Авка. — Так возьмешь полкаши?

— Конечно, возьму! Спасибо тебе большое.

— За кисель.

Я думаю, мгновенье — жаль киселя, но каша нажористей.

— Давай.

Авка в два глотка выпивает мой кисель и ловко, легко выпрыгивает из-за стола.

Занятия. Нам предлагают принести учебники, тетради; рассказывают, чем мы будем заниматься, какая программа. Все это чушь, ерунда, плата за предстоящий обед. В двенадцать нас снова ведут в столовую. Жидкий крупяной суп, пшенная каша, стакан хвойного сока. Не густо. Но все это без карточек! Это дополнительно! Значит, дома я сегодня с легкой душой и чистой совестью поем еще, поскольку за последнее время стали отоваривать все талоны. Мы теперь получаем много хлеба: шестьсот граммов на папину рабочую карточку, четыреста на Миррину, и по триста нам с мамой. К празднику выдали пшено, сахарный песок, сливочное масло по сто граммов, пряники, давно забытый чай.

Вот окрепну немного и пойду работать, буду получать рабочую карточку. Только бы окрепнуть! А на школу наплевать, надо выжить.

Месяц, проведенный в школе вспоминается смутно. Я не помню ни лиц, ни занятий. Ярко запомнился только эпизод, связанный с Авкиными друзьями, которые верховодили в школе, играли в карты, носились по коридору, сбивая с ног еле движущихся дистрофиков, издевались над слабыми, выменивали за хлеб и каши нужные им вещи. Главой этой группы был Финогенов, сын директора магазина. Авка всегда заискивал перед ним. Круглолицый Антонов — сын какого-то исполкомовца. Поддубный — сын видного партийца. Остальных не запомнил. Но навсегда запомнил сцену, когда выйдя из класса, наткнулся на их компанию, взявшую в плотный круг какого-то высокого и тощего, как хлыст, бледного, в шапке надвинутой на глаза, парня.

— Деньги будем отдавать? — спросил Финогенов.

В ответ что-то нечленораздельное.

Хлесь! — кулаком по скуле. Парень пошатнулся. Хлесь, хлесь! — работают кулаки Поддубного. Несчастный парень стал падать, но ему не дали, навалились всей кучей и молотили кулаками, коленями, ногами…

Сволочи… Гады… Сытые, здоровые, сильные… Дистрофика…

С Авкой я дружил до войны. Он был мастер на все руки. Изобретатель. Приучил меня к опытам с электричеством. С его подачей и под его руководством я сделал настоящий светофор, работающий от батареек. Он увлекался физикой, был любимым учеником Евдокии Исааковны. Умел выпиливать, строгать, паять, чинить все, что ломалось у нас в руках. В пятом классе он изобрел и сделал домашний автомат по продаже спичек. Коробка спичек стоила десять копеек. В Авкином автомате коробок выскакивал, когда в щель опускался двугривенный. Когда спички кончались, зажигалась надпись: «Спичек нет!»

Он был одним из лучших спортсменов класса. Мы регулярно встречались с ним на новогодней елке у Лии Терпуговой, моей симпатии, угощались пышными пирогами и другими вкусностями, приготовленными ее мамой Антониной Карповной и делали первые шаги в танцах с девчонками, наступая им на ноги и стараясь не касаться их пальцами.

Прошел год. Год, равный жизни. Все изменилось. Между нами пропасть. И нет рядом моих друзей — Вальки Федорова, Коли Фукса, Коли Ласточкина, Лии, Крамы. Все они где-то далеко в разных уголках страны…

Второе июня 1942 года. Через двенадцать дней годовщина начала войны. Мирра переходит на другую работу, — становится воспитателем детского дома на улице Правды. Я тоже решаю начать работать. Школа закрылась, и я чувствую себя немного лучше.

— Только недалеко от дома, — первое условие мамы.

Недалеко так недалеко.

Напротив Технологического института находится известная всем ленинградцам Палата мер и весов. В глубине обширного двора, за железным забором возвышается башня с самыми точными часами в городе. У часов черный циферблат и белые стрелки. Перед войной у нас с папой был свой маршрут прогулок: до башни, где папа сверял свои часы, потом по бульвару к Витебскому вокзалу смотреть паровозы. Во дворе Палаты — завод «Эталон», где в отделе кадров мне предлагают стать учеником механика часовой мастерской. Что это такое, я понятия не имею. Но впереди маячит рабочая карточка, и я без колебаний соглашаюсь.

Светловолосая женщина в синей спецовке, начальница весовой мастерской Розалия Яковлевна, проводит меня и другого паренька, Вовку, в музей завода и показывает различные весы: пружинные, обычные магазинные с двумя металлическими чашками и сходящимися носиками-уточками, маленькие лабораторные с коромыслом и крохотными гирьками и самые точные — аналитические. Весы эти стоят в стеклянном ящике, герметически закрытом, чтобы не попадала пыль, на особом, выверенном уровнями, столе. Эти весы, коромысловые, с двумя черными пластмассовыми чашками, в обычное время зафиксированы. Для приведения их в рабочее состояние поворачивают никелированный рычажок, чашки поднимаются и слегка вибрируют на нитях. Можно открыть дверцу шкафа и специальным пинцетом, покоящимся в черном бархатном ложе отдельной коробочки, вынуть из той же коробочки одну из многочисленных никелированных блестящих гирек. Каждая гирька имеет свое гнездо в той же коробке. Гирьки от пятидесяти граммов до одного миллиграмма представляют собой квадратные пластиночки из светлого металла с выбитыми на них цифрами веса. Ключ от этих весов хранится у Розалии Яковлевны. Она одна имеет право пользоваться ими.

Аналитические весы вызывают у нас с Вовкой почтение и некоторый испуг.

— Вот дадут чинить такие, — тихо бормочет он, — а мы напортим что-нибудь…

Розалия Яковлевна проводит нас из музея в мастерскую и передает бригадиру — высокому, худому парню лет семнадцати. Он оглядывает нас с явным неудовольствием, подводит к железнодорожным товарным весам и командует:

— Снимайте крышку!

Мы с Вовкой с трудом неумело стаскиваем тяжелую

деревянную крышку — платформу. Внутри рамы система рычагов, соединенных со стойкой, на которой находятся шкала веса и крючок для установки крупных дисков — гирь. Бригадир бросает нам ветошь, приказывают убрать мусор, насыпавшийся в раму из щелей крышки, протереть все рычаги тряпкой с керосином особенно тщательно, до блеска протереть «ножи» — ржавые стальные призмы, на которые опирается крышка. Мы выгребаем землю и щепки, протираем всю систему керосином и ставим крышку на место. Вовка вытирает пот со лба. Я присаживаюсь на край платформы.

— Что сел? — вскидывается бригадир. — Принимайся за другие! Помощнички.

До обеда мы успеваем сделать еще одни весы, после обеда еще пару. К концу смены у нас с Вовкой языки на плечах.

— Ну вот! — ворчит Вовка. — Вот тебе и аналитические…

Так шли дни. Июнь — месяц обстрелов. Немцы уже давно не бомбят Ленинград — себе дороже, но зато регулярно и методично его обстреливают. Их орудия стоят у Средней Рогатки, у Пулково и еще где-то рядом. Ежедневно в разных районах рвутся снаряды и гибнут люди. Рассказывают о прямом попадании снаряда в движущийся трамвай. Кровавое месиво вывозили на грузовиках. На стенах домов появились синие прямоугольники с белыми надписями «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Наше место тоже опасное. Немцы постоянно бьют по Обуховскому мосту в трехстах метрах от нас. Достается и нашему заводу. За недели, что я здесь работаю, снаряды трижды разрывались на его территории. Один из них попадает в башню. На один день останавливаются знаменитые, самые точные в городе часы, но на другой — они снова в ходу. Не удается немцам остановить время!

В середине второй недели папа спросил меня:

— Как тебе нравится работа?

— Никак. Тяжело. Грязно. Тупое дело. Бригадир грубит. Целый день в мусоре, керосине, мазуте…

— Но ведь это работа. Ты просто никогда не трудился.

— Трудился. Чердак мы очистили — раз. Платформу песка в прошлом июле сгрузили — два. Щели я в Польском саду копал — три. Дрова мы с тобой зимой пилили — четыре. А тут каждый день одно и то же: платформы, мусор, номерок в восемь, номерок в пять. Как в тюрьме.

— То, что ты говоришь — ужасно. — Папа внимательно и строго смотрит на меня. — Никогда не думал, что у тебя может быть отвращение к труду.

Он был не прав, мой умный и всезнающий папа. У меня не было отвращения к труду, как таковому. Ни тогда, ни после. У меня было отвращение именно к этому виду труда. Видимо, я не был рожден механиком часовой мастерской. И поэтому мне было тошно.

Но, иногда, весовая мастерская приносила неожиданные радости. Однажды Вовка не вышел на работу, и я трудился один. Товарные весы, обсыпанные чем-то белым, попались на этот раз особенно грязными. Я с тоской, нехотя отвалил щелястую платформу. Внутри рамного ящика рычаги утонули в каком-то белом порошке. Чертыхаясь, я взял щепотку, поднес к свету, понюхал, потом попробовал на язык. Мука? Взглянул на накладную: отправитель — Мельница имени Ленина… Мука! И сколько! Вот это да!

Как же ее унести? Ни мешка, ни сумки. В карманы! Ага — кепка!

Ладошкой я тщательно выгреб муку и пересыпал ее в кепку. До обеда полчаса. Кепка оказалась вместительной, но она уже полна. Остатками набил карманы штанов. На башне пробило двенадцать. Я отряхнул белые брюки, прижал кепку к груди и побежал к проходной. Лишь бы выпустили! Лишь бы не остановили! Но мне сегодня везет: вахтерша в проходной, жуткая стерва, даже не посмотрела в мою сторону, так как бурно ругалась со сменщицей.

Я за воротами! Ура!

Взбежал по лестнице, ворвался домой и торжественно водрузил кепку на столе. Вывоpотил карманы в тарелки. Мука! Мука! Настоящая белая мука с мельницы имени Ленина!

Быстро проглотил свой суп, заказал маме блины на вечер и в приподнятом настроении побежал обратно на завод.

Через пару дней я с великим облегчением подал заявление об увольнении. Для этого появилась важная причина. Круто менялась вся жизнь нашей семьи.

Детский дом № 55/61, в котором работает Мирра, эвакуируется из Ленинграда. Мирра уезжает с детдомом и забирает с собой маму и меня. Папа и Лиля остаются в Ленинграде, каждый на своем посту: Лиля в госпитале, папа — главным инженером коммунального хозяйства Южного района. Нас ждет новая неведомая жизнь — жизнь в разлуке со своими, в тесном постоянном контакте с коллективом детского дома.

Часть вторая
ДЕТСКИЙ ДОМ № 55/61

Вторая часть «Детей блокады» не вошла в текст журнала «Нева» и была издана домашним способом. Лев Самсонович считал своим долгом опубликовать всю историю детского дома, собранную им из устных свидетельств бывших воспитанников и воспитателей, военного дневника старшей сестры Мирры Самсоновны и собственных воспоминаний. Книжка была роздана всем оставшимся в живых детдомовцам, в дополнение к журналу «Нева».

Пролог

11 марта 1995 года в квартире Гени Морица был накрыт большой стол на двадцать человек, который, по установившейся неписаной традиции как всегда ломился от яств. Колбаса трех сортов, ветчина, сыр, шпроты, селедка, разнообразные салаты… Бутылки с вином, водкой и фруктовыми соками. Гостеприимный Геня и его жена подавали гостям горячее мясо. А спустя часполтора стол с закусками сменился на сладкий — с чаем, пирогами, домашним печеньем, фруктами и наборами шоколадных конфет.

Столь подробное описание стола приведено не случайно.

Мы, дети блокады, чудом выжившие в смертельную голодную зиму 41–42 года, будем до последних наших дней помнить серо-зеленый сырой кусочек дурандово-опилочного хлеба величиной в два спичечных коробка — нашу суточную пайку, которую мы съедали, часто не донеся из булочной до дома, а потом мучительно ждали новой во мраке и стуже наших обезлюдевших квартир. Поэтому обильный стол и вкусная разнообразная еда для нас не чревоугодие гурманов, а некий не оговоренный символ нашей победы над смертью, символ радости бытия и благодарности судьбе за достойно прожитую, несмотря на все испытания, жизнь.

Нас было немного. За столом встретились Ольга Александровна, Ревекка Лазаревна, Вера Николаевна, а также Боря Богач, Боря Гусев, Нина Громова, Нина Иванова, Завен Аршакуни, Зина Ефимова, Игорь Каверкин, Геня Мориц, Надя Каштелян, Тамара Логинова, Нонна Саренок, Сайма Пелле, Валя и Вера Трофимовы и я.

Все были взволнованы предстоящей встречей. Приподнятое праздничное настроение царило за столом.

— Ребята! — сказала Ольга Александровна. Мы собрались сегодня здесь, чтобы в очередной раз вспомнить наш детский дом и годы войны. Нас никто не заставлял идти на эту встречу. Мы все пришли сюда по зову сердца, добровольно, чтобы встретиться с друзьями, давно уже ставшими родными. Мы встречаемся так уже больше пятидесяти лет. С каждым годом круг наш сужается. Это естественно. Будем надеяться, что даже когда останутся и встретятся только два человека, память о детском доме будет продолжать жить.

Солнечным утром 5 июля 1942 года я вошел в двери дома № 20 на улице Правды и сразу оказался среди множества тюков и ящиков, сваленных в кучу на кафельном полу посреди

обширного вестибюля.

С широкого марша лестницы спускалась румяная девочка с большими синими глазами. Сбросив тюк на пол, она приветливо мне улыбнулась и спросила:

— Ты кого ищешь?

— Мирру Самсоновну. Я ее брат.

— Она работает наверху с ребятами. А зачем ты ее ищешь?

— Она велела документы принести. Меня в воспитанники зачисляют.

— Так ты с нами поедешь?

— Да.

— А как тебя зовут?

Я представился.

— А меня Ника. Ника Бобровская. Запоминай!

— А я уже запомнил!

— Вот и хорошо! Махнув мне рукой, девочка легко взбежала по лестнице, еще раз одарив меня доброй улыбкой…

> Дальнейший текст — это воспоминания участников событий. В ряду других — и мои личные воспоминания, наблюдения и заметки. Первое слово — основателям детского дома.

Начало

Ольга Александровна Саренок

В начале 1942 года меня вызвали в райком партии Фрунзенского района для организации детского дома. Выделили помещение бывшей школы № 320 на улице Правды 20.

В это время я заведовала двумя детсадами. Один находился в Апраксином переулке. В этом доме было бомбоубежище, разделенное, на два отсека: один для жильцов дома, другой — для детсада. Во время одной из бомбежек бомба пробила отсек жильцов. Дети не пострадали. Помещения были смежные, и меня позвали на помощь раненным. Я была в белом халате, подумали, что я врач. Одному мужчине глаз выбило, — я его забинтовала; у другого из шеи кровь лилась. Я ему плотно-плотно затянула бинтами шею, кровь остановилась. Потом приехала «Скорая» и военврач мне руку пожал, сказал:

— Вы спасли двоих людей.

В бомбоубежище у нас был железный шкаф — сейф, в котором хранился неприкосновенный запас детсада — галеты. Однажды прибежали ко мне, говорят: «Сейф вскрыт, галет нет!» Начали искать — кто? У меня было подозрение на одного из рабочих, убиравшего помещения бомбоубежища. Узнали мы его адрес. Позвала я с собой двух рабочих. Пошли. Открыл дверь он сам. Растерялся. В комнату вошли — на столе галеты лежат.

— Откуда галеты?

Молчит. Я говорю:

— Руки назад!

Он послушно заложил руки за спину. Отвели его в милицию.

Из дневника Ольги Александровны Саренок

5 февраля 1942 года. Запасшись грозной бумагой от председателя райсовета Мартынова, я отправилась на улицу Правды к управляющей домом 20. Она встретила меня враждебно:

— Не будет здесь детского дома рядом с интеллигентными жильцами!

Я приготовилась вынуть мою бумагу, но тут пришел мальчик с просьбой выдать ему справку о том, что у него умерли папа и мама. И тогда я сказала:

— Будет здесь детский дом! Вот для таких детей!

Управляющая притихла. Моя бумажка осталась в сумке.

23 февраля. Сегодня мы приняли первых двенадцать детей. Эту дату можно считать открытием детского дома.

Завуч Златогорская лежит дома с температурой сорок…

25 февраля. Вчера прошла первая летучка. Народом я довольна. Молодые, ретивые, грязной работы не боятся. Я поблагодарила их за тяжелый труд и предложила воспитателям высказаться, как прошел первый день.

— Хорошо прошел.

— Прошел хорошо, но учтите: истощенным детям лучше давать по полтарелки два раза, чем один раз полную. И еще — валенки класть на постель запрещаю…

После летучки поехали все за дровами.

В доме на ул. Правды было холодно, как на улице. Зима стояла жестокая. Морозы в эту зиму доходили до сорока градусов. От эвакопункта нам остались разруха, свалка, грязь и вонь. Все стекла были выбиты. Дом промерз.

Прежде всего нужно было очистить помещение, чтобы предотвратить эпидемии, и согреть его, чтобы в нем стало можно жить. Возник целый ряд проблем: где достать печника, столяра, водопроводчика. Где найти специалистов — ведь те, кто остался, еле бродят. Кроме того, необходимы материалы: Печнику для кладки плиты — кирпичи, песок, глина; столяру — стекла на весь дом; для лужения большого котла в кухне требовалось три килограмма олова. Как отопить наше промерзшее здание, где найти дрова? Дрова оказались недалеко, на Растанной улице. Надо было только их выпилить из разбомбленных домов, где на разных этажах торчали деревянные балки. Это была тяжелая и опасная работа. Среди развалленных стен, битого бетона и кирпича самоотверженно работали молодые девушки, наши воспитатели: сестры Ксеня и Лена Галченковы, сестры Вера и Люся Роговы, Наташа Попченко и Люся Чидина. Лена Галченкова однажды чуть не сорвалась, чуть не убилась, когда пилила на втором этаже.

Когда напилили много, Лена придумала:

— Давайте все грузовики, проходящие по Растанной, останавливать и просить подвезти.

Я сказала:

— А вы не просите, а требуйте. Говорите, что есть приказ председателя Ленгорисполкома Коновалова, чтобы каждая проходящая машина доставляла дрова для детдома на Правду. В случае чего валите на меня. А я уж разберусь.

У нас не было кроватей. Мы узнали, что на улице Марата, в

разбомбленном доме, где раньше находился детский сад, на высоте третьего этажа стоят кровати — все на виду, потому что стену бомбой снесло. Я позвала сестер Галченковых, двух уборщиц, и мы пошли за кроватями. Поднялись со двора на третий этаж, взломали дверь в соседнюю квартиру, оттуда сделали проем в помещение детсада, где кровати стояли, и через него осторожно вынесли тридцать детских кроватей, спустили вниз и перевезли на санках в детский дом.

В марте первая большая партия детей (около 200 человек) была эвакуирована в Ярославскую область. В апреле уехала другая группа в Сызрань.

Вера Николаевна Рогова

3 февраля 1942 года к нам домой ворвалась моя учительница Мария Вячеславовна Кропачева и с порога заявила:

— У нас в детдоме на Подольской несчастье — сыпной тиф! Все возможные меры там приняты. Надо срочно спасать вновь поступающих детей — дистрофиков, оставшихся без родителей. Дети поступают ежедневно. Их число растет, а размещать их негде. Бросайте все! Мобилизую всех комсомольцев нашей школы на спасение детей!

Вместе с Марией Вячеславовной пришел ее муж Лев Моисеевич Никольский, журналист, корреспондент «Красной газеты». Оба были в шинелях, оба были мобилизованы с начала войны.

Мария Вячеславовна, заслуженная учительница РСФСР, член Верховного РСФСР, не бросала слов на ветер. В течение двух-трех дней мы получили помещение на улице Правды 20, где с начала войны был размещен эвакопункт, прекративший свое существование после того, как замкнулось кольцо блокады. Очистку дома начали 6-го февраля вместе с сестрами Галченковыми и моей сестрой Люсей.

В доме стоял уличный мороз, водопровод и канализация не работали, на всех этажах дома — замерзшие сталактиты нечистот. Мы их срубали топорами и выносили ведрами. Выкидывали сгнившие матрацы, разгружали шкафы.

Срочно нужен был волевой, сильный директор.

Ревекка Лазаревна Златогорская, работавшая раньше в детском доме на Подольской, предложила кандидатуру Ольги Александровны Саренок, известную ей по комсомольской работе. Мария Вячеславовна согласилась и, как показали дальнейшие

события, в выборе не ошиблась.

Когда дом был очищен и убран (к нам в феврале присоединились Наташа Попченко и Люся Чидина), мы проделали дымоходы — дырки в форточках, обзавелись буржуйками.

Потом к нам в разное время пришли опытный педагог-дошкольник Мария Степановна Клименко, педагог-дефектолог Роза Михайловна Молотникова, а в конце мая пришла Мирра Разумовская, которая в дальнейшем стала культурным стержнем жизни детского дома.

Очень много помогал в организации детского дома заведующий Фрунзенского РОНО Семен Ильич Гансбург.

Ревекка Лазаревна Златогорская

Наш детский дом не случайно имел двойной номер — 55/61. В нем слились два детдома — школьный и дошкольный. Мы осуществили эксперимент не разлучать детей из одной семьи. Это оказалось очень полезным и для малышей, и для старших детей. Старшие опекали не только своих братьев или сестер, а заодно и остальных, тем самым помогая воспитателям и одновременно приобретая навыки работы с детьми.

Перед тем как попасть в наш детдом, я работала завучем в детдоме на Подольской улице, организованном в самом начале войны, до блокады там воспитывалось около ста двадцати детей. К несчастью, туда был занесен сыпной тиф. Там я видела самое страшное за всю войну: здоровые дети спали вместе с больными и мертвыми, и по ним всем ползали вши.

Я сама заболела сыпняком и свалилась с температурой 40. У себя дома провела некоторое время в горячке, за мной ухаживала мама, а потом Ольга Александровна увезла меня на детских санках к себе. Уже позже, поправившись, я узнала, что детдом на Подольской прекратил свое существование, так как, часть детей умерли, а остальные были переданы в другие детские дома.

Работая завучем детского дома, я не ставила перед собой какие-то особые задачи. У всех нас, у всего коллектива была одна общая главная задача — вернуть к жизни блокадных ленинградских детей с подорванным здоровьем и надломленной психикой. Для этого были нужны не только человеческое участие, теплое отношение к детям. Требовались значительные материальные средства.

Ксения Николаевна Галченкова

Когда началась война, я училась на втором курсе исторического факультета в институте Герцена. Скоро нас послали рыть окопы, а в конце сентября институт эвакуировался. Я осталась в Ленинграде.

Рядом с моим домом на Апраксином переулке был детский сад, которым заведовала Ольга Александровна Саренок. Я поступила туда работать сменным воспитателем. Шла на работу в три часа дня, когда было светло, а возвращалась в десять, в кромешной тьме. Идешь на ощупь, ни один фонарь не светит, ни одно окошко не горит. Спотыкаешься о тела покойников, которых выносили из домов, как только стемнеет — днем стеснялись.

Город находился на военном положении и ночью ходить было запрещено. Однажды Ольга Александровна и завхоз по какому-то делу шли по ночной улице в детсад. Раздался гул самолета.

— Бежим! — закричала Ольга Александровна, — он сейчас бомбу сбросит! Только они успели вбежать в бомбоубежище, как ахнула бомба. Детсад располагался на первом этаже окнами во двор — колодец. В этот двор и упала бомба, высадив все окна и рамы.

Став директором детского дома, Ольга Александровна позвала работать в нем меня и других ребят из 13 ой школы: сестер Роговых и Люсю Чидину. Мать Люси умерла, а отец очень боялся за Люсю в Ленинграде и надеялся на ее отъезд с детским домом. Вслед за мной на работу пришли моя сестра Лена и мама, Лидия Павловна на должность бухгалтера.

Во время очистки здания, мы выкинули множество грязных смерзшихся матрасов и наткнулись на три трупа. У одного нашли документы и сдали их в милицию, трупы вынесли на улицу. Там их подбирали особые бригады и увозили на Пискаревку.

Когда детдом заполнился детьми, часть из них мы начали готовить к эвакуации. Среди детей были такие слабые, что эвакуировать их было невозможно. Мы решились пойти на отбор. Устроили испытание, возможное в тех условиях: ставили ребенка у стенки комнаты и предлагали пройти до другой стенки. Если ребенок нормально преодолевал это расстояние, мы считали испытание законченным и оставляли его в списках на эвакуацию. Если же он несколько раз падал или вообще не доходил до стенки, мы его оставляли в детдоме, чтобы подправить и подготовить к следующей отправке.

Как-то во время нашего испытания явились две тетки из исполкома. Стали шуметь:

— Как это вы делаете? Так нельзя!

Мы говорим:

— Дайте на каждого ребенка по сопровождающему, вот и

будет, как надо!

Разве мы были неправы? Время было такое! Когда нас на Финляндский вокзал привезли, только мы к вагонам — сирена! Бомбежка! А у нас двадцать детей! Мы все бегом в бомбоубежище вместе с ними. Потом вернулись, стали их в вагоны сажать, каждого на руки берешь и подаешь в тамбур, а там перехватывают. А что бы мы делали со слабенькими? Их бы не уберегли и других бы потеряли.

Дети, присланные нам РОНО, иногда умирали прямо в канцелярии во время оформления документов. Так однажды доставили нам девочку, страшно худую. Начали записывать какие-то сведения о ней, а моя Лена говорит:

— Зря пишем, она сейчас умрет.

И эта девочка действительно умерла минут через пятнадцать.

У меня был тоже случай. Я дежурила ночью в детдоме, устала до смерти и прилегла на ближайшую кровать рядом с ребенком. И сразу провалилась, уснула. Чувствую, меня нянька тормошит:

— Ксеня! Вставай!

Я спросонок:

— Что такое? Зачем будишь?

Она:

— Вставай! Павлик Миронов умер.

— Ну и что? Завтра разберемся.

— Так он рядом с тобой лежит!

Елена Николаевна Галченкова

В детский дом я пришла 6 февраля 1942 года. Меня сразу назначили завхозом и кастеляншей. Я отвечала за белье, за имущество, а кроме того принимала людей на работу. Каждого, кто приходил наниматься, первым делом подводила к окну и смотрела — может ли человек хотя бы шевелиться? Может ли работать прачкой или уборщицей? Хватит ли у него сил?

Основная наша работа была у всех одна: грязь убирать и дрова доставать. Дрова мы пилили и вывозили не только с Расстанной, а и из разбомбленного института киноинженеров, прямо напротив нашего дома на улице Правды. Там и балок было много, и паркет шел под растопку. А под паркетом трупы смерзшиеся находили. Один труп детский был.

А матрасы, посуду и кровати мы вывозили из студенческого общежития Холодильного института, которое находилось в переулке Ломоносова.

Когда началась эвакуация, меня из завхозов перевели в

воспитатели. Дали группу пятилетних дошколят — двадцать пять человек — и сказали: «Воспитывай». Ну а какое там воспитание? Пасли мы их просто, кормили, берегли. Вот и все воспитание.

Из дневника Натальи Николаевны Попченко

Ребята, которых доставляли к нам, в большинстве своем были худые, изможденные — настоящие дистрофики. Многих было уже не спасти. Ясно было, что они попадали к нам слишком поздно. Мы зашивали трупы в простыни и выносили во двор, откуда их потом вывозили специальные машины. Один случай мне особенно запомнился. Появился у нас новый мальчик лет двенадцати, звали его Вася. Он выделялся из всех своей подвижностью, энергией, был веселый, непохожий на дистрофика. Очень он был мне симпатичен. Пришла как-то утром на работу. Нянька говорит:

— Помоги мертвого вынести, я его уже зашила.

Мы понесли, а она спрашивает:

— Знаешь, кого несем?

— Кого?

— Васю.

У меня прямо сердце оборвалось. Никак не ожидала, что Вася может умереть.

Надя Каштелян

До войны мы жили в коммуналке на Лиговке 107. У родителей нас было трое: я и два брата. Старший брат Миша ушел добровольцем в 41-м. Он погиб в 43-ем в звании старшего лейтенанта. Похоронка пришла с Ленинградского фронта. Младший брат Ваня эвакуировался с интернатом на тридцатый день войны. В декабре от голода умер отец, в марте 42-го мать.

Мне тогда было пятнадцать лет. Я осталась одна. Меня взяла к себе наша знакомая, которая за это брала себе по сто граммов хлеба с оставшейся маминой карточки. К тому времени я уже много сил потеряла, исхудала вся. Еще при отце мы варили сыромятные ремни. Резали их на мелкие кусочки и ели. Двух кошек съели с отцом. Мама не ела и нам не велела. А мы ели и было вкусно. Ели кофейную гущу, студень из столярного клея (тогда плитки можно было купить на деньги). Потом соседка привезла съедобную землю — ели как творог… Помню, я говорила:

— Когда кончится война, буду есть вволю дуранду и жмыхи.

А после войны так ни разу их и не видела…

Как попала в детский, дом не помню. Провал в памяти. В детдоме меня сразу поставили на усиленное питание. Все мы были острижены наголо и ходили в белых панамках.

Ника Бобровская

Война обрушилась на нашу семью, как и на всех неожиданно и стремительно. Никто не мог предположить, что уже в августе немцы будут на подступах к Ленинграду.

Мы жили в Лигово. Нас обстреливали и бомбили. Папа, чтобы спасти нас, выкопал недалеко от дома землянку, и мы некоторое время жили там, надеясь, что немцев отгонят. Однако с каждым днем линия фронта приближалась. Мимо нас в Ленинград постоянно шли отдельные группы красноармейцев или просто солдаты-одиночки. Немцы заняли Красное село. Это было уже совсем рядом. И 15 сентября мы все: папа, мама, мой брат близнец Вова и я — бежали, бросив все. Успели вскочить на последний трамвай. На другой день немцы заняли Лигово.

В Ленинграде мы остановились у папиных сестер. Папа, белобилетник, добровольно ушел в армию, а уже в ноябре в Ленинграде наступили черные времена. У нас были три иждивенческие карточки, которые не отоваривали. 23 февраля от голода скончался Вова, а 3 марта — мама, Ольга Павловна Бобровская.

Меня забрала к себе тетя Лида, мамина сестра. Она работала бухгалтером в столовой, а потом перешла на работу в детдом, где уже работали воспитателями мои двоюродные сестры Ксения и Лена.

Подробности дороги в Угоры не помню. Помню, что быстро перезнакомилась с ребятами, что у нас в вагоне было весело. Еще помню, как мы с Левой на какой-то станции тащили из пункта питания большой котел с супом и, пролезая под вагонами к нашему эшелону, споткнулись и пролили чуть ли не половину на рельсы… Очень жалко было!

В Кобоне во время общей сутолоки и погрузки вещей неожиданно лицом к лицу столкнулась с отцом! Бросились друг к другу, у обоих слезы радости. Перекинулись несколькими словами и он тут же включился в нашу работу — кинулся грузить детдомовские вещи. Поэтому наша встреча была короткой, поговорили на ходу минут десять-пятнадцать и распрощались. Наш эшелон тронулся в путь.

Это была моя последняя встреча с отцом.

В 44-м мне в детдом пришла похоронка. В ней сообщалось, что мой отец, Бобровский Борис Александрович, погиб при форсировании реки Нарвы 20 апреля 1944 года.

Ира Синельникова

Когда началась война, у мамы нас было трое: старший брат Лева, сестра Фаина и я младшая. Мне было 13 лет.

Отец, Яков Ефимович Шперлинг, инвалид первой мировой войны, в 1939-м был арестован по доносу. Родом он был из Невеля (Западная Белоруссия) и некоторое время мы переписывались с родственниками, потом прекратили. При обыске нашли эти письма на еврейском языке. А раз переписка с заграницей да еще на иностранном языке, то и статья была соответственная — шпион. Забрали его. Мама была на суде, вернулась седая. Через некоторое время пришло от него письмо. Он писал, что не вернется, потому что открылись старые раны, работать он не может, а кто не работает, того здесь не кормят. Брата его, парторга Карбюраторного завода, после ареста отца тоже арестовали. Он тоже не вернулся.

1941 год. Я уехала в Невель с двоюродной сестрой. Мы приехали в Невель в 5 часов утра 22 июня, а в 12 объявили, что началась война. Сестра сразу же уехала в Ленинград. Она была членом МПВО. Сначала мама писала мне, что надо возвращаться домой, а потом написала, что не надо. Она не знала, где мне лучше оставаться.

Когда немцы вошли в Витебск, из Невеля начали бежать и я с родными тоже побежала, но было уже поздно. Во всех деревнях, кругом, везде были немцы. Началась паника. Я потеряла родных и вернулась на станцию Невель. Там стоял какой-то поезд. Мне крикнули: «Садись, а то останешься у немцев!». Я была маленькая, мне было не взобраться на подножку, но какой-то мужчина подхватил меня, и я оказалась в вагоне. Поезд тронулся.

В Великих Луках нас стали бомбить. Поезд загорелся, люди стали прыгать в канаву. Когда самолеты улетели, подошел паровоз, подцепил оставшиеся вагоны и поезд сразу же тронулся. В Бологом я сразу же заснула на скамейке вокзала. Разбудила меня женщина и попросила понянчить ее ребенка, — ей с мужем нужно было сходить узнать, когда пойдет поезд на Ленинград. Вернувшись через полчаса, спросила: «Ты, наверное, есть хочешь?». А я не ела с того времени, как ушла из дома. Она отрезала ломоть хлеба и такой же ломоть сала, и я с такой

жадностью стала есть, что у нее появились слезы.

Когда подошел поезд, то объявили, что сначала поедут семьи военных. Тогда эта женщина говорит: «Мой муж полковник, и я скажу, что ты моя няня». Так я поехала в Ленинград. Не доезжая до Ленинграда, поезд остановился. Многие пошли пешком, и я с ними. Когда дошли до окраин, я еле стояла на ногах. Знала, что к Витебскому вокзалу идет трамвай № 9. Села в него. Подошла к кондуктору и говорю: «Тетенька, у меня нет денег, но мне надо доехать до Витебского вокзала». Она пустила.

Когда я вошла во двор, там гуляли дети и среди них моя старшая сестра Фаина. Я к ней подбежала, и она закричала, увидев, какая я грязная и рваная. Когда пришли домой, мой брат Лева спал после смены. Мы его разбудили. Он вскочил и стал меня целовать. Я была младшая в семье, он меня очень любил. После обеда меня отправили в баню. Вечером я пошла встречать маму — она работала на фабрике им. Володарского. Домой она ходила по Фонтанке. У Военно-медицинской академии был горбатый мостик со ступеньками и фонарями. Когда она вошла на мостик, я бросилась к ней. Она, увидев меня, сразу упала — сердце схватило. Когда мама очнулась, она зарыдала, потому что думала, что я осталась в Невеле, а там уже были немцы.

После пожара на Бадаевских складах Фаина подбирала там патоку с песком, потом мама это варила и процеживала. Во время бомбежек мы спускались под лестницу с мешочком сухарей. В бомбоубежище у нас была детская самодеятельность — стихи и танцы. Потом нам, детям, поручили закрашивать на чердаке все деревянное известью — говорили, что если попадет зажигалка, известь не загорится.

В сентябре Лева, 1923 года рождения, ушел в народное ополчение. Когда мама сказала ему, что он у нас единственный кормилец, он ответил: «Мама, я же комсомолец. Я не могу оставаться». И ушел.

А в октябре он был ранен и контужен. Его положили в Боткинскую больницу. Я туда ездила. Там были поля, на которых я собирала капустную ботву. Раненые давали мне еду — все, что могли. После госпиталя Лева был отпущен домой на поправку. Он пошел опять работать на завод. Трамваи уже не ходили, и он в морозы добирался до дома пешком. В декабре его привели домой с отмороженными ногами.

В ноябре я слегла. В декабре у мамы вырвали сумку с хлебом. К счастью, прохожий отнял у вора сумку и вернул маме. Но, видно, на нее этот случай очень подействовал, и через несколько дней она тоже слегла. Теперь нас, лежачих, было уже трое — я, мама и брат. Сестра приносила из ремесленного училища супчик.

Мама разжигала буржуйку и делила суп на четверых. Сестра говорила маме, чтобы она тоже ела гущу. Мама отвечала, что Ира самая слабенькая и ее надо спасать.

13 января 1942 года в 7 утра мама попросила кусочек плавленого сыра. Фаина обычно приносила свой паек домой, но с этого дня пайки на дом отменили. Мама как это услышала, сразу захрипела, и мамы не стало. Она умерла утром 13 января 1942 года.

Брату стало хуже. Мы вызвали врача. Врач сказал: «Один-два дня, и его не будет».

Лева умер в 4 утра 15 января 1942 года.

Сестра договорилась с дворником похоронить маму и брата за хлеб, который остался на их карточках. Она завернула тела в простыни. Они с дворником свезли их за ТЮЗ, где был дровяной склад. Сестра говорила, то покойников там складывали, как дрова. Где их похоронили, я не знаю. Сейчас я на Пискаревское кладбище езжу каждый год.

Когда сестра вернулась, она была не в себе. Плакала, говорила, что не хочет больше жить. Потом ушла и не сказала куда. Я думала, что она утопилась. Как я сползла с дивана, не помню, но как-то добралась до входных дверей и там лежала и звала сестру. Тетя Поля, соседка, шла домой и увидела меня и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?». Я не помню, как она меня на диван положила. Увидела, что нет мамы и Левы, и сказала: «Ты теперь тоже умрешь».

А через три дня вернулась Фаина с двоюродной сестрой Софой. С ними пришла тетя Злата, папина сестра. Фаина рассказала родным, что мы остались одни. Они решили перейти к нам жить. Мне дали кусок дуранды (тетя Злата шила вещи и меняла их на дуранду). Я же три дня не ела и не могла есть — зубы шатались, была цинга. Тогда дуранду стали давать, предварительно размочив.

В конце января к нам приехал брат Софы, Изик, бежавший из Невеля. Мы стали жить впятером. Работали только Фаина и Софа.

В марте умер Изик.

Через две недели умерла тетя Злата.

Софа решила сменять ее бостоновый костюм на еду. Когда она вернулась, то плакала навзрыд. Мы с сестрой говорим ей: «Что ты плачешь, смотри, сколько дали еды: буханку хлеба, чашку гороха и две луковицы». А она объясняет, что там, где она меняла, целый буфет хлеба, целый мешок гороха и много связок лука. Ей там дали суп и сказали, что она может есть, сколько хочет. Ей казалось, что она наелась, но когда вышла на лестницу, опять захотела есть.

Потом Софа ушла на казарменное МПВО, и мы с Фаиной остались одни.

Весной 1942 года у нас на переулке Ильича открылась баня. Ремесленное училище Фаины послали туда мыться. Девочки из ремесленного отнесли меня в баню — я не ходила. Мылись все вместе девочки и мальчики. У меня была сильная цинга и пролежни. Вдруг объявили тревогу, но все продолжали мыться в темноте. Помню, я очнулась после бани дома. Сестра постелила мне все чистое, и мне было хорошо, только очень хотелось есть. Девочки ушли в ремесленное, а я осталась одна. Фаина оставила мне кусочек хлеба, и я намазала на него содержимое какого-то тюбика. Когда сестра пришла, я ей говорю: «Больше нет этого варенья» — и показываю ей тюбик. Она говорит: «Ты же угробишь себя — это клей».

С каждым днем мне становилось все хуже. Я переставала дышать, Фаина дышала мне в рот, и я открывала глаза. Она рассказывала, что я приняла все лекарства из аптечки, но лучше мне не становилось, и сестре посоветовали сдать мен в детдом, потому что дома я все равно умру. Заведующая детприемником сказала, чтобы мы несли из дома ценные вещи, так как они нужны для покупки нашего питания. Мы с Фаиной сдали серебро и дорогой китайский сервиз. И другие дети несли кто, что мог.

25 апреля 1942 года она повела меня в детприемник в Лештуков переулок — ныне переулок Джамбула. Когда мы вышли из ворот, светило яркое солнце и дистрофики грелись на бревнах. Вышли мы днем, а пришли в детприемник уже к вечеру, отдыхали через каждый метр.

Начались неприятности с документами. Сначала меня не хотели брать, потому что мне в июне должно было исполниться 14 лет. Потом сказали, что меня примут, так как я дистрофик. Меня сразу накормили, помыли, остригли, намазали мои пролежни и положили спать на чистую койку. Сколько я пробыла в детприемнике, не помню, но стала потихоньку ходить. Потом меня перевели в детдом на улице Правды, дом 20. Весь июнь я была в госпитале для дистрофиков на Малодетскосельском переулке. Кормили по тем временам хорошо. Давали полкирпичика белого хлеба, сахарный песок, витамины, суп и второе.

28 июня — мой день рождения. Мне говорят: «Ира, тебя кто-то зовет». Я выглянула из окна и увидела Софу, свою двоюродную сестру. Мы нашли веревочку, и я ей спустила вниз все, что нам дали утром, — пусть порадуется.

Мы в госпитале учились ходить, а потом бегать по коридору. Скольких синяков стоило это учение! Через некоторое время меня

выписали, и я снова вернулась в детдом. Я была в старшей группе. Мирра Самсоновна была у нас воспитателем.

Фаина с ремесленным училищем была на огородах в Пери. Однажды мне сказали, что пришла сестра. Я побежала с лестницы и чуть не упала — ноги не держали. Она меня подхватила. Фаина мне сказала, что они через два дня эвакуируются с ремесленным училищем, и мы договорились, что будем переписываться через Софу в Ленинграде…

Видно у меня были нервные срывы, и мне все время казалось, что ко мне приходит мама. Это случалось так часто, что я не могла спать, и Мирра Самсоновна часто сидела ночами у моей постели.

Геня Мориц

В июле 1941 года мой отец Александр Григорьевич Зарецкий ушел на фронт. Был дважды ранен и демобилизован. После войны мы с ним встретились.

Мы с мамой жили на Лиговском проспекте, 107. В декабре наш дом сгорел, и мы переехали жить к тетке в коммунальную квартиру на ул. Рубинштейна, 34. На углу Разъезжей и Загородного находилась школа, в которую на новогоднюю елку были приглашены дети, живущие в этом районе… Нам подарили какие-то игрушки, но самым главным подарком было, когда нас пригласили в актовый зал, где стояли столы, покрытые белыми простынями, и перед каждым поставили по тарелке теплого овсяного супа, по полстакана желе, и положили по три грецких ореха! Этого не забыть!

К маю квартира на Рубинштейна опустела. Одна семья уехала, другая вымерла. А 5 мая умерла моя мама, и я остался один… Мне было тогда 11 лет.

Не помню, как я жил это время. Не помню, как оказался в больнице им. 25 Октября на Фонтанке. Подобрали, наверное, на улице добрые люди и отправили в больницу. В больнице лечили от дистрофии. Пролежал месяц. Выписали, когда начал ходить. Что мне было делать?

Возвратился на Рубинштейна, встретил управдома. Он посоветовал мне пойти в детприемник на ул. Чернышева. Оттуда меня направили на ул. Правды.

Лида Филимонова

Мои отец и мать родом из деревни. Отец, Иван Филимонович, участвовал в Первой мировой войне, потом работал каменщиком. Мама, Евгения Прохоровна, работала в типографии. У родителей нас было трое — старший брат Володя, я и Галя. Все четыре года войны Володя прослужил авиамехаником на военном аэродроме. Он постоянно писал нам в детдом и присылал деньги со своего аттестата. Зиму мы прожили очень тяжело. К весне родители свалились. Мне тогда было двенадцать лет, а Гале всего три годика. От слабости она тоже уже не ходила.

Выручила нас тетя Маруся. Она сказала:

— Надо спасать Галю, отдать ее в детсад, там детей кормят, особо слабым дают усиленное питание.

Мы с ней повезли Галю на саночках, но в детсады уже не принимали. Тогда тетя Маруся снова посадила Галю в санки, положила в карман документы, отвезла Галю в детский сад на Коломенской и оставила там. А мне сказала:

— Идем со мной, будем у соседей прятаться.

Буквально через час к нам домой прибежали заведующая садика с Коломенской и воспитательница. Они вошли в открытую дверь и застали там умирающего отца и лежачую маму. И они сказали маме:

— Не волнуйтесь, мы вашу девочку не бросим, оставим у нас.

В марте умер отец, а за ним через месяц и мама. Я попала в открывшийся недалеко детдом на улице Правды, а через некоторое время туда же перевели мою Галю. Когда я впервые вошла в палату, мне показалось, что я попала в больницу — девочки там были все худые, бледные и стриженые. Потом стала привыкать к режиму, начала регулярно есть и силы стали возвращаться.

Сайма Пелле

Папа мой Иван Иванович Пелле умер в 1938 году в деревне Пески под Пулковом, где мы жили. Там жили русские и финны. Я знала финский, потому что дома говорили на двух языках, а потом все перезабыла. Когда началась война, мне было 11 лет. Немцы подступали к Пулково, и мы с мамой (ее звали Анна-Мария Адамовна), с сестрами Олей и Любой бросили дом и пошли в Ленинград. Мы и корову прихватили с собой — не оставлять же ее немцам.

Был конец лета 41-го года. В Ленинграде у нас никого не было, но мы довольно скоро нашли приют во Фрунзенском районе на Воронежской улице, 5. Нас приютила одна русская

семья — женщина с маленьким мальчиком. Мы все жили в одной комнате. Корову пришлось прирезать. Часть мяса мама продала, часть отдала за проживание, остаток мы быстро прикончили. Началась голодная зима.

20 апреля мама умерла. Оля умерла после мамы, когда нам уже дали небольшую комнату на Подольской улице. Там была чужая мебель. Жильцы, наверное, эвакуировались. Люба ходила на работу. А меня отослали в детприемник. Там помыли. Остригли наголо и послали в детдом на улице Правды. Моя сестра Люба (ей было 16 лет) вслед за мной эвакуировалась в Кемеровскую область вместе с заводом, на котором она работала.

Валя Иванова

8 сентября 1941 года. День моего рождения, прекрасный, тихий и солнечный день, немецкие самолеты взорвали первой бомбежкой Ленинграда…

До войны мы жили очень скромно. Мама одна тянула нас четверых детей. Я была самая старшая, Тося самая младшая. Папа умер до войны от воспаления легких.

Началась блокада.

У мамы хватило сил продержаться до 2 февраля 42-го года. Утром она нас накормила, вымыла посуду, легла отдохнуть и не проснулась.

Вскоре к нам пришел управдом, описал наше имущество, а меня с сестрами отвели в детский дом на улице Правды.

Там меня и восьмилетнюю Нину положили в изолятор. Мы были самые слабые и умирали рядом. Я выкарабкалась, а Ниночка, самая красивая и талантливая из нас, умерла. Я пролежала в изоляторе с марта по июнь. Своей спасительницей считаю врача Варвару Константиновну Казнову, фотографию которой до сих пор храню. Когда мы в 45-м вернулись в Ленинград, мы встретились, и Варвара Константиновна узнала меня… по голосу. Тогда она подарила мне красный берет, и теперь я всегда ношу красные береты.

Пока я лежала в изоляторе, Люсю, мою младшую сестру, увезли в Ярославскую область, а Тося осталась со мной. Как-то воспитательница на руках принесла ее ко мне, и Тося меня не узнала, до того я изменилась. Я ничего не могла ей сказать, только обливалась слезами.

Завен Аршакуни

Мой отец Петрос Агаджанович Аршакуни мечтал стать скульптором и поступал на скульптурный факультет Академии художеств, но не прошел по конкурсу.

В свое время отец вместе с Вениамином Борисовичем Пинчуком работал у Томского, когда тот лепил большого Кирова. Их мастерская была в здании личной церкви Лазаревых на армянском кладбище. Осенью 41-го отец был на фронте под Пулковом. Той же осенью умерла от дистрофии и голодного поноса мама, а я пошел в детдом. В первый же день меня там вкусно накормили. А на столе лежала книжка «Маугли» с рисунками Ватагина. Я ее сразу схватил и стал читать, удивляясь, как здорово Ватагин рисует зверей.

Понемногу стал знакомиться с ребятами. Многие были такие слабые, что не вставали с коек. А те, кто мог ходить, после обеда выходили на улицу, грелись на солнышке. Подружился с Валей Пирияйненом. У него была нога хромая, — наверное перенес полиомиелит.

Тамара Логинова

Трудно вспоминать и заново переживать то страшное время.

Когда началась война, мне было восемь лет. Незадолго до Отечественной закончилась финская компания. Она запомнилась мне светомаскировкой и гибелью на фронте нашего соседа — Леши.

22 июня было воскресенье, жаркий день. Мы, дети, играли во дворе в войну. Почему-то мы часто играли в войну.

В семье нас было пятеро: мама Серафима Арсентьевна, отчим, мой брат Юра, сестра Люся и я.

Нас с Юрой мама отправила в пионерский лагерь, но мы пробыли там недолго. Лагерь был под Тихвином, немцы быстро продвигались к Ленинграду и нас срочно вывезли обратно. Начались бомбежки. Наступила осень. Бомбили все чаще и чаще. Нашу Предтеченскую улицу бомбили каждый вечер, потому что она шла параллельно железной дороге, которую немцы старались разбомбить. Зенитки, стоявшие рядом с нашим домом, били по самолетам. Спали мы одетые. По сигналу воздушной тревоги, сонные, напуганные бежали в ближайшее бомбоубежище.

Осенью в школу не пошли. Наступил голод. Не стало еды, воды, тепла и света. Первым слег дядя Вася, которого почему-то не взяли на фронт. От него у нас в семье родилась в сороковом году Люся, ее носили в ясли недалеко от дома. Когда дядя Вася умер, мама отвезла его в блокадный морг на углу Марата и

Звенигородской.

Потом слегла мама, и мамина сестра перевезла на санках ее и Юру к себе на Международный проспект. Я шла рядом.

25 февраля мама умерла. Этот момент я хорошо помню. Мы с братом стояли, обняв круглую печку. Мама умирала в сознании и очень беспокоилась за маленькую Люсю, которая оставалась в яслях.

Тетя отвезла маму туда же, на Марата.

Еды у нас не стало совсем. Тетя согревала самовар, наливала кипяток в чашки, рядом ставила солонку. Мы макали пальцы в соль и запивали теплой водой. А потом слегла и тетя. И велела нам возвращаться домой, к соседям. Мы так и поступили.

Возвратившись домой, мы нашли пустую квартиру. Жившие там до войны две семьи отсутствовали: одна семья эвакуировалась, другая умерла.

Что нам было делать? Мы пошли к маминой подруге, тете Шуре и 3 марта она отвела нас в детский дом на улице Правды 20. В доме, как и везде, не было стекол. Отапливались буржуйками. Мы, дети, настолько плотно жались к ним, что на мне стало тлеть пальто, которое я вообще не снимала, а на левой руке навсегда остался шрам от ожога. Приближалась весна, и мы стали понемногу оживать. Но ноги по-прежнему были слабыми, на улицу мы не выходили, еду нам подавали прямо в кровати.

Пришел апрель. Приближались майские праздники. Ольга Александровна вместе с врачом отбирала детей, которые могли ходить в столовую, а ослабленных оставляли в постелях. Среди лежачих был и мой брат Юра. Его положили в изолятор, и я его навещала. Но я тоже еще была совсем слаба и преодолевать путь до столовой приходилось с трудом — вниз спускалась, держась за перила, а обратно, наверх, поднималась на четвереньках. Я это хорошо помню.

В мае мы вышли во двор, на солнышко, нарисовали на асфальте мелом скачок и попытались скакать, но ничего не получилось, ноги были не те.

2 мая кто-то из ребят сказал, что моего Юру увозят на «скорой» в больницу. Я пошла к нему, но уже не застала. Больше я его никогда не видела. Он умер 24 мая сорок второго года. Через сорок лет взяла похоронную на него в архиве больницы, шла и, не стесняясь, плакала.

После этого я пошла проведать Люсю в ясли, и там узнала, что она умерла в марте…

Итак, я осталась одна в живых из семьи в пять человек…

Валя Тихомирова

До войны мы жили на Серпуховской, 3, в квартире 9. Маму звали Анна Васильевна, папу Александр Николаевич.

Когда мама уходила на работу, она оставляла нам с сестрой большую палку, чтобы мы, не вставая с кровати, могли отпугивать крыс. Крысы лезли на постель, а мы стучали. У мамочки от голода была водянка, большой живот. Мне было десять, а Вере пять лет. Мама слегла. Написала мне записку на хлебозавод, где она работала кондитером, чтобы мне что-нибудь дали. Я пошла на Одиннадцатую Красноармейскую, где был хлебозавод, и в проходной подала записку. Начальник сказал: «Подожди». И вдруг началась бомбежка, полетели стекла, осколками мне поранило ноги, они были в крови. Я лежала за ящиком. Про меня не забыли, дали буханку, сказали, чтобы спрятала под кофточку. Около дома меня встретила тетя, мамина сестра, увидела хлеб, стала просить кусочек. Я ей отломила граммов двести. Остальное унесла домой.

Мама уже не ждала меня, думала, что я погибла. А я вернулась, да и еще и с хлебом. Поели на радостях.

Когда маме совсем плохо стала, тетя Катя, царствие ей небесное, посадила ее на коврик, стянула вниз по лестнице, а потом на коврике же ползком дотянула до больницы. Больница была напротив, на Серпуховской.

Я ходила в эту больницу смотреть список умерших. Мамы там не было. У нас дома висела икона Николая Чудотворца. Тетя сказала:

— Молись за маму. Детская молитва дойдет.

Я молилась. Но, видно, не дошла моя молитва. Мама умерла 24 июня. Когда мне сказали об этом, мне стало плохо, я потеряла сознание. А когда очнулась, то я, грешница, затаила обиду.

Мы с Верой остались одни. У нас на столе стоял глиняный растворник, в него мы клали карточки и деньги. Однажды карточки исчезли. Есть стало совсем нечего. Мы стали шарить по квартире, надеялись что-нибудь найти. Обыскали все ящики комода, где мама прятала пайки хлеба, нашли там крошки, солинки, все подъели.

Этот комод сделал папа, он был краснодеревщиком. Вся мебель у нас была сделана его золотыми руками. Он и обувь сам шил.

Потом мы обглодали все домашние растения и отравились. Стало совсем плохо. Пришла к нам незнакомая женщина от управдома и посоветовала идти в детдом.

Сначала мы попали в детприемник в переулке Чернышева. Нас остригли и заставили таскать ведра с нечистотами. А оттуда уже направили на улицу Правды вместе с мальчиком Генрихом

Зонбергом, худеньким. Бледным и прыщавым. Ребята его обижали, потому что он был немец.

Нина Иванова

Мой отец Виктор Яковлевич Иванов пропал без вести на Лужском участке фронта в начале ноября 41-го года. С этого времени перестали приходить от него письма. Он был танкистом, радистом, а в ноябре под Лугой шли жестокие бои с прорвавшейся армии Гудериана. Вот там, наверное, он и погиб.

Мне было одиннадцать лет, когда мама показала мне золотые серьги с изумрудом и сказала:

— Это тебе вроде как приданое от бабушки. Наденешь, когда тебе будет восемнадцать лет. В ноябре 42-го, когда голод уже взял нас за горло, я вспомнила об этих серьгах и решила: раз мои, то и распоряжусь ими, как хочу, — сменяю на хлеб.

Я дружила с мальчишками с нашего двора. Одного из них, старше меня года на четыре, звали Альбертом. Он немного говорил по-немецки, потому что был наполовину немец.

Я показала ему сережки, объяснила, чего хочу. Он взялся помочь. Я спросила:

— Где ты собираешься менять?

Он сказал:

— У немцев. Они стоят за Средней Рогаткой, и у них можно выгодно сменять. Надо только линию фронта миновать. Я уже так делал. И еще туда пойду.

На другой день рано утром мы с ним и еще с несколькими мальчишками вышли из дома и на попутках добрались до Средней Рогатки. Там было поле, дорога, а вдали виднелись какие-то строения.

Альберт велел нам где-нибудь спрятаться и ждать его. А сам, захватив с собой все наши колечки, часики и мои серьги, вынул белый платок и пошел по дороге в открытую, помахивая платочком.

Мы все попрятались кто куда. Я залегла в канаву около обочины. Ждали долго. Я уже коченеть стала. Наконец он появился с мешком, из которого начал доставать хлеб. Мне досталась буханка, в корку которой была воткнута пуля с клочком бумаги и словом «Нина» на нем. У других тоже были пули с такими же клочками. У кого в буханке, у кого в полбуханке.

Домой я вернулась вся мокрая и замерзшая. Положила на стол буханку. Мама спросила:

— Откуда?

Я ей рассказала всю историю. Она меня не ругала, не отчитывала, а была очень испугана и смогла только сказать:

— Какой ужас!

Моя мама, Ираида Николаевна работала воспитателем в детсаду на Лештуковом переулке, там и жила, а я была при ней.

12 февраля 1942 года она пошла к нам домой на Невский 173 и не вернулась. В этот день немцы произвели несколько тяжелых обстрелов города. Я пошла искать маму по местам обстрелов. Проходила весь день в февральскую стужу в драных валенках и отморозила себе ноги и руки. Никого не нашла и возвратилась в детский сад. Медсестра, увидев мои ноги, немедленно отправила меня в госпиталь у Витебского вокзала, где я пролежала месяц, а оттуда меня направили в детдом при фабрике имени Крупской. Там, наверное, было вредительство — детей кормили пересоленной пищей, поэтому мы очень много пили. Дети-дистрофики заболевали и умирали. Я решила бежать.

Детдом находился за высокой оградой, ворота были заперты, поэтому пришлось лезть через забор. Какой-то мужчина — дистрофик за две конфеты помог мне перекинуть мои вещи через забор.

После этого я попала в детдом на улице Правды. Там первое время Ревекка Лазаревна водила меня на кушаке, чтобы я не сбежала. Такая была у меня слава.

Эвакуация

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Июль 42 года. Я никогда не была воспитателем. И вот мне пришлось окунуться в воспитательное море. Я получила шестьдесят ребят, с которыми была помещена в один вагон. Мы эвакуировались из Ленинграда в неизвестном направлении. Маршрут менялся трижды.

Началась новая, непохожая на прежнюю, напряженная, динамичная и интересная жизнь, которая полностью захлестнула меня и помогла справиться с непроходящей тоской и мыслями о Ленинграде. Я стала жить, растворив себя в детском коллективе.

Появились новые, чисто психологические задачи. Это очень нелегко — подойти вплотную к сердцу ребенка. Не каждое откликается на зов, не каждое откроется, не всякое поверит и доверится.

Мой отряд — самый старший. Вместе со мной работает воспитателем доброжелательная и энергичная девушка Вера Рогова. В отряде много интересных ребят, с которыми мы уже подружились в пути. Разные характеры, разные судьбы, объединенные одной общей бедой — войной. Подавляющее большинство — сироты. У некоторых где-то на фронте отцы, у какого-то родственники в разных концах Союза. Почти все дети сильно изломаны пережитым, с психологией дистрофиков. Еда — Бог и царь их душ, ради нее они готовы на все. Разговоры постоянно кружатся вокруг этой темы даже тогда, когда они сыты. Были случаи, когда под подушками у девочек находили кучи обглоданных корок и даже плошки с остатками скисшей каши.

Постепенно вагон обживался. Дети знакомились, привыкали к необычной обстановке. Ссор почти не было, конфликты возникали только на почве еды, — трехразовые кормления были центральной темой дня, своего рода священнодействием. Особенно ненасытными казались Володя Панфиленок, худой костлявый парень, изможденная голодом Надя Каштелян и Геня Мориц. Геня, набив рот так, что уже не мог ходить, ложился на полку и, тяжело дыша, свесив вниз руку просил добавку.

В вагоне процветала менка. Сначала меняли друг у друга хлеб на кашу и наоборот. Потом стали менять чужие мелочи на съедобное. Потом переключились на казенное белье. На остановках тапочки, трусы, даже синие форменные береты быстро превращались в огурцы, яйца, молоко и ягоды. Однажды

Панфиленок появился в вагоне с тремя селедками, от запаха которых весь вагон зажал носы. Бдительная Ревекка Лазаревна немедленно конфисковала добычу, решительно заявив, что холеры в вагоне не допустит. Панфиленок ужасно обиделся на этот «произвол начальства» и потом в течение недели ходил к матери Ревекки Лазаревны, жалуясь на лихую судьбу. И каждый раз добрейшая Ита Ноевна подкармливала его, чем могла, с лихвой возместив ему утрату злосчастных селедок.

В остальном все было нормально. Ехали дружно. Много говорили, шутили, смеялись. Постепенно, сближаясь, ребята начали делиться своими историями, рассказами о пережитом, которые часто заканчивались плачем, потому что за спиной у каждого была трагедия — потеря родителей, дома, семьи. Однако надломленные детские души почти всегда были открыты для шутки, для улыбки, для юмора. И я сразу поняла, что это чудо детской души нужно всемерно беречь и поддерживать. Наш путь до места, где детскому дому суждено было жить, состоял, как потом выяснилось, из нескольких этапов: поездом Ленинград — Шлиссельбург, пароходом через Ладогу до Кобоны, оттуда поездом дальнего следования через Горький до Мантурово, а из Мантурово «лошадиным транспортом» сорок километров до деревни Малые Угоры.

Лев Разумовский

Поезд из Ленинграда останавливается в Шлиссельбурге. Здесь кончается блокадное кольцо. Мы выгружаемся, чтобы продолжить наш путь через Ладожское озеро на восточный берег. Многочисленные тюки, ящики, узлы и пакеты постепенно заполняют всю платформу небольшой станции. Старшие ребята строятся поотрядно и под руководством Мирры и Веры Роговой, уходят на пристань. Все происходит шумно, суматошно, но после переклички становится на свои места и перрон понемногу пустеет.

— Позаботься о Мустафе! — уходя, кричит мне Мирра. — Что-то с ним неладно.

Мы, старшие, — Олег, Женька, Ника и я перекидываем вещи в бортовые машины. В таких же машинах уехали дошколята со своими воспитателями: Люсей Роговой, Марией Степановной Клименко и мамой. Я передаю очередной ящик Олегу и подхожу к Мустафе, одиноко сидящему около своего вагона на свернутом матрасе.

— Что с тобой?

— Ослаб. Ноги не ходят.

— Совсем не ходят?

— Совсем. Пропал Мустафа…

— Ну-ка, давай попробуем встать. Я тебе помогу.

Мустафа цепляется за мою руку, пытается встать. Но ноги его подкашиваются, и он падает рядом с матрасом.

— Олег! Давай сюда! Ну-ка подсади мне его на закукры.

Мне хорошо знакомо это — когда ноги становятся ватными и подкашиваются. Ровно шесть месяцев назад мои тоже не ходили, а сейчас я могу ему помочь.

Мустафа обнимает меня за шею, обхватывает бока ногами, и я несу его сначала через пути, потом мимо серых бревенчатых домов, потом грунтовая дорога выводит меня на небольшой пригорок. С него уже открывается серебристая Ладожская гладь. На ней пароходы, рядом с пристанью снующие по ней люди.

На пристани я ссаживаю Мустафу на деревянные мостки около Зинаиды Сергеевны Якульс, которая раздает ребятам своего отряда горячую кашу из большого котла.

Надо спешить к поезду, помочь ребятам завершить разгрузку. Через пару шагов я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на Ладогу, и с изумлением вижу, как ослабший Мустафа довольно бодро встает с мостков, своими неходящими ногами приближается к котлу и протягивает руку с миской…

Прощальный гудок, и пароход с тремя сотнями детей на борту отчаливает от причала Шлиссельбурга. Идет дождь. Серое небо, свинцовые волны, хмурое Ладожское озеро. Старшие дети тесной кучкой сгрудились на борту, вцепившись худыми руками в поручни, с тоской и надеждой смотрят вдаль, туда, где небо соединяется с водой, где нет бомбежек, где их ждут покой, еда и жизнь.

В трюме тесно и сыро. Там набито битком. Малыши — вповалку на полу, так что не пройти, не пролезть к любому из них. Как тени, бродят воспитатели с красными от бессонных ночей глазами. Смотрят за детьми, пытаясь помочь им. Пароход сильно качает, детей рвет, они стонут и плачут. На палубу выходит боцман.

— Эх, ребят жалко! — бормочет он, застегивая бушлат.

— Конечно, жалко! — откликается молоденькая круглолицая Люся Рогова, — Мучаются дети…

— Что мне, ваших жалко? — искренне удивляется боцман. — Мне своих ребят жалко. Им убирать!..

На палубе появляется Ольга Александровна. В руках у нее серое цинковое ведро, полное обрезков хлеба и булки. Она

направляется к группе детей, стоящих у борта.

— Ребята, берите хлеб. По очереди.

Слово «хлеб» действует как удар кнута. Доселе неподвижная кучка прижавшихся друг к другу детей срывается с места и в момент окружает ведро с хлебом. Мелькают руки, головы. Кто-то падает, кто-то набивает себе куски за пазуху, кого-то толкают, а он, вцепившись в ручку ведра, тянет его к себе…

— Назад! — кричит Ольга Александровна, и ее голубые глаза становятся круглыми. Она вырывает ведро из уцепившихся в него рук и… раз! — выбрасывает его за борт…

Ведро с легким стуком ударяется о волну. Серые и светлые кусочки исчезают в темных волнах. Дети, перегнувшись через борт, замирают от ужаса и невероятности происшедшего.

Ольга Александровна еще кричит что-то своим резким и высоким голосом. А маленькие фигурки повернулись спинами к ней и оцепенело глядят на темную зыбкую воду, поглотившую такую драгоценность…

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Ладога встретила нас проливным дождем, под которым мы выгрузили наше имущество из вагонов и погрузили его на пароход. Работали до изнеможения, до боли в руках, но дружно и слаженно. Воспитатели, администрация, старшие ребята — все участвовали в этом.

Впервые оказавшись на Ладожском озере, я сразу вспомнила, что именно здесь зимой пролегала узенькая дорога жизни, которая непременно войдет в историю. Вспомнился голод, заснеженные пустынные улицы и драгоценные граммы, от которых зависела наша жизнь. А та ледовая дорога была не шире десяти метров.

Когда пароход с зенитками, возле которых неотступно дежурили моряки, медленно отчалил от берега, я неотрывно смотрела назад. Там, в Ленинграде, остались мои близкие. Шел 1942 год. Блокада не снята. Что ожидает город и его жителей? Пароход шел быстро. Через два часа мы уже были у пристани на другой стороне озера и вздохнули с облегчением: нам повезло, мы прошли водный путь без бомбежки!

Самое сильное впечатление от встречи с Большой Землей: рабочие, сидевшие на досках пристани, ели крутые яйца, спокойно макая их в соль и заедая хлебом и зеленым луком. Это было невероятно! Сама обыденность этой сцены не укладывалась в наших головах…

Только здесь, ступив на серую дощатую пристань, я с полной

очевидностью поняла, что наша эвакуация — свершившийся факт. Назад пути не было. И снова мысли вернулись к Ленинграду и сами собой родились строки:

Стоит опаленный в боях Ленинград,
Столицы священной несогнутый брат.
Пусть раны на теле твоем, Ленинград,
Пусть в воздухе часто снаряды свистят…

Записать их было нечем, не на чем и некогда — тяжелые вещи перемещались с парохода на пристань вручную, а потом в кузова присланных машин.

Олег, Женя, Ника, Люся Чидина, Мария Николаевна Рогова остались выгружать вещи из трюмов. Я решила подкормить грузчиков. Выпросила у поварихи Лиды буханку хлеба и банку сгущенки. Все это богатство в минуту исчезло в ребячьих ртах. Они повеселели и с новой энергией принялись за тюки. Вдруг завыла сирена и послышался самолетный гул. Вмиг были сброшены брезенты. Зенитки на пристани подняли стволы в небо. Быстро отчалили и растаяли в тумане катера. Тревога продлилась минут двадцать. Гул самолетов исчез, все закончилось благополучно.

Подошедшие вскоре машины забрали все вещи и ребят. Я поехала последней машиной после трехчасового ожидания. Дорога была ухабистой, машину бросало из стороны в сторону, соответственно вещи вместе со мной летали свободно от борта к борту. Из повстречавшейся на пути машины выскочил Панфиленок и радостно прокричал:

— Мирра Самсоновна! Я в Лаврове съел пять тарелок супа с настоящей картошкой, мясом и крупой!

Небольшой поселок Лаврово — пересылочный эвакопункт, — сплошь забит эвакуированными из Ленинграда. Люди бегают с посадочными талонами, переносят вещи, бидоны, кастрюльки с молоком и вповалку спят на земле.

Надя Каштелян

…В поезде нас кормили хорошо, только мне было все не наесться. Только и думалось, как дожить от завтрака до обеда, от обеда до ужина.

Когда приехали в Кобону, нас кормили, но мне показалось мало. Я пошла в соседний огород, нашла там за сараем много лебеды, рвала ее и ела до сытости. Там же на Ладоге, у меня украли чемодан со всеми моими вещами.

Когда мы потом приехали в Угоры, пошли в деревню и поменяли наши чистые школьные тетрадки и блокнотики на картошку. Хозяйка нам наварила, поставила на стол целый большой чугун, и мы всю эту картошку съели прямо с шелухой.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Весь день в лихорадке и сутолоке беспрерывной работы, а вечером старших ребят разместили по каким-то домам: улеглись вповалку на полу, положив под голову рюкзаки или вещмешки.

Ранним утром следующего дня началась погрузка в эшелон дальнего следования, который должен был везти нас далеко на восток, в безопасный район России.

Грузили лихорадочно быстро, тюки просто кидали в тамбуры вагонов. Состав двинулся. Сначала медленно, потом, набирая скорость.

Началось растаскивание вещей по вагонам и размещение их под полками, на полках и на полу. Мы распороли тюки с матрасами, и вагон приобрел почти жилой вид. Скоро все дети, измученные обилием впечатлений и кратковременными ночевкам, крепко уснули и даже к еде их невозможно было разбудить.

Ехали без комфорта. На нижних полках спали по два человека. На полу, на тюках между полками спал еще один. Когда ночью вдруг раздавались вопли, это означало, что слезавшие с верхних полок наступили на спящего на полу.

Лев Разумовский

Кобона. Эвакопункт. Поздний вечер. Я иду искать маму. Огромное помещение бывшей церкви битком набито сотнями детей. В церкви полутемно. Слабые огоньки коптилок и редких свечей выхватывают из полутьмы фрагменты полуциркульных сводов, лица и отдельные фигуры взрослых из копошащейся, плачущей, гудящей массы детей, лежащих вповалку на всей площади внутреннего зала церкви. Здесь скопилось сразу несколько детских домов, выехавших из Ленинграда. В размещении детей видимо существует определенный порядок, но на первый взгляд это все равно огромное скопище, этот детский муравейник, вызывает чувство щемящей тоски тревоги…

Еще от входа я замечаю маму, которая с растерянным и горестным видом стоит среди своих малышей, лежащих на полу на расстеленных тюфяках. Мама наклоняется то к одному, то к

другому, что-то им говорит, поправляет одежонку, с трудом передвигаясь между плотно лежащими телами.

Я издали машу ей рукой и, осторожно ступая через детские тела, пытаюсь пробраться к ней.

Сначала я продвигаюсь успешно, но чем дальше, тем труднее становится найти пустое место, чтобы поставить ногу. Шагах в пяти-шести от нее я останавливаюсь. Дальше сплошные тела, пройти невозможно. Мама протягивает мне кружку с водой — то большая ценность, и я очень хочу пить, но дотянуться до кружки невозможно. Мы перекликаемся с ней на расстоянии. Я сообщаю ей последние новости и спрашиваю, где и как она собирается ночевать.

— О чем ты говоришь? — устало машет мне рукой мама, и я ухожу, оставляя ее в тревоге и озабоченности.

Тяжелый смрад, исходящий от поносящих детей преследует меня до выхода. Июльская ночь встречает прохладой, ветерком и приносит облегчение.

Ира Синельникова

Наш детский дом стал эвакуироваться. Перед посадкой в поезд у многих ребят начался понос. Нас, старших, послали в вагоны, где были малыши двух-трех лет. Мы за ними ухаживали. Потом нас посадили на пароход. Я была на палубе, когда объявили тревогу. Какой-то моряк сказал, что лучше оставаться наверху, накрыл меня брезентом и сказал, чтобы я не боялась. Слава Богу! Мы переплыли Ладогу и остановились в какой-то деревне. Узнав, что мы из Ленинграда, местные жители стали нас расспрашивать о блокаде, но не поверили нашим рассказам, решили, что мы хотим их разжалобить.

Тамара Логинова

Когда нас привезли в Мантурово, местные женщины, глядя на нас плакали, жалели нас, а Ольге Александровне говорили: «Доченька, ты их по дороге всех похоронишь». По приезде в Мантурово нас завели в столовую, и посудомойка, жалея нас, говорила: «Какие скелеты!»

А через три года, когда мы уже возвращались в Ленинград, та же женщина в той же столовой радовалась за нас: «Какие мордатые стали!».

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

26 июля 42-го года. Опять стучат колеса. Уже третьи сутки, как мы едем на восток. Уже проехали Волхов, Тихвин. Сегодня была остановка в Пикалево. Едем медленно, подолгу простаивая на неизвестных железнодорожных разъездах, а иногда в поле или лесу. В вагоне душно. Июльское солнце раскаляет железо. Тяжелый запах испарений, пота, давно немытых тел и нестираного белья.

Едем уже третьи сутки. Я продолжаю знакомиться с детьми. Каждый день новые впечатления, новые характеры. Мне интересно.

Олег Громов, племянник Ольги Александровны. Родители погибли в блокаду. Красивый сильный мальчик. Мужественное лицо, светлый чуб, голубые глаза. Спокойный, уверенный в себе, всегда готовый прийти на помощь, на выручку. Про таких говорят — «надежный».

Ника Бобровская — сгусток энергии, доброжелательности, улыбчивости. Выделяется из всех детей цветущим видом, бодростью и работоспособностью. Румянец во всю щеку — кровь с молоком!

Женя Ватинцев — живой разболтанный веселый мальчишка. Музыкален. Любит петь, быть в центре внимания.

Забавный и хитрый Мустафа. По-русски говорит скверно, но рассуждает много. Ссорится со всеми, не переставая улыбаться. Не знает разницы между своим и чужим и одевается в то, что лежит рядом. Вот очередная ссора с Сонькой Сулеймановой, которая, не обнаружив своих тапок, свесила с верхней полки над Мустафой голые ноги и запричитала, требуя свои туфли.

— Сонька, говнюк, чего ноги свесил, как рак?

— Сам говнюк! Отдай мои туфли!

— Нет у меня твоих тухль. Это мои тухли.

— Нет мои!

— Иди на куфню. Спроси этого, как его… тетю Лиду. Наверное, он забрал. Общий смех в вагоне. Девочки за Соньку, мальчишки за Мустафу. Тема еды на время забыта.

Мустафа был одним из самых слабеньких. Он целыми днями лежал, любил, чтобы за ним ухаживали, в еде был капризен. Положение ослабленного позволяло ему не вставать и не мыться, часто стонать и лежать с голым задом. Когда ему пеняли на это, он невозмутимо отвечал:

— А жарко. Могете отвертеться и не глянуть.

Его жалели. До тех пор пока не застукали: ночью после двух суток лежания и стонов он встал и выпил двухлитровый бидон со сладким чаем. Потом бодро влез на полку и застонал снова.

У него был друг, Шавкет. Круглоголовый живой и подвижный

мальчишка с круглыми хитрыми глазами, в прошлом мелкий воришка. Говорил он басом, быстро, немного заикаясь. Однажды он пришел к Мустафе не утром, как обычно, а к ужину. Я спросила, где он был. Он ответил, что весь день искал тону.

— А что такое тона?

Ответ был настолько же многословен, насколько непонятен. Потом выяснилось, что «тону» его послала искать Ольга Александровна. Ольга Александровна подтвердила:

— Да, он позволил говорить со мной неподобающим образом. Я его выставила и потребовала найти другой тон…

На протяжении десятидневного пути в поезде дальнего следования, между трехразовыми кормежками, общими разговорами и мелкими конфликтами, под стук колес дети продолжали делиться воспоминания.

Валя Тихомирова

Когда нас стали эвакуировать, каждому выдали в дорогу неприкосновенный запас — по буханке хлеба и строго предупредили, чтобы в конце пути сдали на кухню. Ольга Александровна сказала:

— Если тронете хлеб, высажу!

Мы с Тамарой Соевой ехали на одной полке. Нас кормили хорошо, но запах хлеба дразнил постоянно. И Тамара стала потихоньку от своей буханки отщипывать. А я боялась, буханку берегла, напоминала ей про угрозу Ольги Александровны. Она ответила:

— Пугают…

По приезде в Угоры нам велели буханки сдать. У меня была целая, а у Тамары один мякиш серединный, так и сдала, и ей ничего не сказали.

Лев Разумовский

Поезд дальнего следования. Говорят, едем на Горький. Я знакомлюсь с ребятами. Среди них заметно выделяется невысокий хромой парень с острым взглядом, облупленным носом и уверенным хрипловатым голосом. У ребят, даже более рослых и сильных, он пользуется необъяснимым бесспорным авторитетом: «Сашка сказал», «Не тронь — это Сашкино», «Скажу Сашке, тогда узнаешь!» — слышу много раз за день.

Мы встречаемся с ним в проходе у окон. Прищур зеленоватых

глаз, обмен двумя, тремя фразами, и завязывается наш интересный разговор.

— Ты «Овода» читал?

— Конечно! Вот человек был! Никого не боялся!

— А «Монтекристо» читал?

— Еще бы! Любимая книжка!

— Ты много читал, я смотрю. А что до войны делал?

— Учился. Много учился, — быстро, в тон мне реагирует Сашка. Плутоватая улыбка. Хитрые глаза. Чувствую какой-то подвох.

— Чему учился?

— Где притырить, что слямзить, как хавиру на бой пустить…

— Врешь ты все…

— Ты что — не веришь? Хочешь, фокус покажу?

— Давай.

— У тебя носовой платок есть?

— Есть.

— В каком кармане?

Я хлопаю себя по боку.

— Так. Следи за мной, я его красть буду. Следи внимательно. Особенно за руками.

— А-а-ап-чхи!

Сашкино лицо сморщивается, глаза превращаются в щелочки, рот открывается, и он оглушительно чихает несколько раз. Потом медленно лезет в свой карман, достает мой платок, вытирает выступившие слезы, затем с хрюканьем сморкается в него, сует мне в руки и говорит:

— Извини, у меня насморк!

— Ну и чудеса!

— Не зевай!

Сашка заразительно хохочет, радуясь блестяще выполненному трюку, и я хохочу вместе с ним.

Поезд мчится, постукивая по шпалам. За окнами проплывают зеленые поля, под колесами громыхает мост, в речке купаются мальчишки. Я скашиваю глаза и замечаю, что на подножке нашего вагона прилепился парень с бледным и рыхлым лицом, на ногах лапти, холщовый мешок за плечами.

— Смотри, вон с нами еще один пассажир едет.

Сашка выглядывает в открытую верхнюю часть окна, замечает парня и резко выкрикивает:

— Эй ты, хмырь! Ты что прилип?

— А тебе пошто? — огрызается парень и разражается матюгом.

Реакция наступает мгновенно. Сашка меняется в лице. Одним

движением подтягивает свое сухое жилистое тело к открытой фрамуге и перекидывает ногу за окно.

— А ну вали отсюда, падло скобское! Рви с подножки, — рычит Сашка, перекидывает вторую ногу, и перебирая руками по раме (в зубах неизвестно откуда взявшаяся финка), двигается к подножке, к обомлевшему деревенскому…

Я вскакиваю на приступок, перегибаюсь наружу и хватаю Сашку одной рукой за волосы, другой за руку. Он поворачивает ко мне искаженное злобой лицо и что-то хрипит сквозь сомкнутые зубы. Я что-то тоже ору и изо всех сил тяну его наверх. Боковым зрением вижу перепуганного парня, который присел, забился в угол подножки и отчаянно кричит:

— Не надо! Ой, не надо…

Каким-то невероятным усилием втягиваю в вагон Сашкину голову, захватываю ее и начинаю всем телом давить вниз. Финка со стуком падает на пол. Сашка рычит, но я все-таки перетягиваю его и держу, зажав изо всех сил. А он, дрожа всем телом, понемногу затихает и успокаивается.

— Ты что, с ума сошел? Чего ты на него полез? Да ты бы скопытился под колеса!

Сашка молчит, хмурится, а потом, шмыгая красным носиком, выдавливает, глядя на меня исподлобья:

— Ну, Лева, пускай он за тебя Богу молит. А то лежать бы ему сейчас в крови под откосом.

Угоры

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Так и ехал наш дом на колесах двенадцать дней, а на тринадцатый остановился на неказистой полупустой станции Мантурово.

На грунтовой привокзальной площади нас ожидало около двадцати крестьянских подвод, которые должны были отвезти нас со всем нашим скарбом за сорок километров от станции, в далекую деревню Малые Угоры в отведенное для нас здание церкви. Мы свалили на подводы наши вещи, посадили сверху детей. Обоз двинулся в далекий путь. Чахлые, полуголодные клячи медленно волокли телеги по равнине, бойчее под уклон и останавливались перед подъемами. Приходилось всем слезать и дружно толкать телеги. Начали мы наш поход с утра, к ночи, с многочисленными остановками, проехали половину пути и заночевали на подводах, укрыв детей всем теплым, что оказалось под руками. Это было 2-го августа 1942 года.

Лев Разумовский

Вот и Угоры. Деревня тянется вдоль большака, дороги, по которой мы ехали. Перед каждым серым бревенчатым домом изгородь из жердей. Крестьяне смотрят на нас доброжелательно и с любопытством, наш приезд — большое событие для захолустной деревни. За поворотом дороги посреди большой зеленой поляны стоит высокая розовая церковь с куполом и колокольней. Белые пилястры обрамляют окна на обоих этажах церкви.

Конец долгого пути. Шумная и радостная суматоха. Ящики, узлы, пакеты, коробки заполонили зеленую площадку перед церковью. Весь многочисленный и объемистый груз постепенно втаскивается в открытые полуциркульные церковные двери. На нижнем этаже устанавливаются рядами железные кровати от входа до полукруглого алтаря с тремя высокими окнами. Все старшие ребята при деле. Младшие рассыпались по поляне, радуются зеленой траве, деревьям, солнцу. Весело и радостно оттого, что закончилась утомительная дорога, что мы обрели наконец дом, в котором нам жить.

Втаскивая вместе с Женей Ватинцевым очередной ящик, я уже с паперти слышу знакомый властный высокий голос с

напористыми интонациями. В притворе в окружении нескольких местных мужчин стоит Ольга Александровна и, как я понимаю, отчитывает председателя сельсовета. Рослый, грузный небритый мужик с одутловатым лицом, на голове кепка, выцветшая рубаха выбивается из брюк, стоит навытяжку перед нашим директором, хрупкой голубоглазой блондинкой, и что-то бубнит себе под нос, теряясь перед стремительным напором этой миниатюрной женщины. Есть от чего потеряться! Голос Ольги Александровны крепчает с каждой фразой, резкость слов нарастает, глаза буравят председателя.

— Вы были предупреждены заранее! Вы были обязаны подготовить помещение для ленинградского детдома! Обязаны были обеспечить горячее питание в день приезда детей! Ни того, ни другого вы не сделали! Я буду жаловаться на вас в Мантуровский райком партии! Из-за вашей халатности триста блокадных детей сегодня остались голодными! Это даже не халатность! Это преступление! Почему не подготовлена кухня?

Сельсоветчик разводит руками и пытается что-то сказать. Но Ольга Александровна перебивает его:

— Мне не оправдания нужны, а дело! Если через два часа дети не будут накормлены, партийный билет на стол положишь!

Она поворачивается спиной к обалдевшему председателю и продолжает, в том же темпе:

— Мария Степановна! Я иду звонить в Мантурово. Размещайте детей пока в церкви. Роза Михайловна! К вам это тоже относится! Вера Николаевна! Четвертому отряду распаковать матрасы.… А вы что здесь стоите? — напускается она на нас с Женькой. — Взялись носить, так носите, а рот нечего разевать!

Через два часа на поляну перед церковью въезжает телега с большим черным котлом. А спустя еще двадцать минут все мы, старшие и младшие, расположившись на траве или ступеньках паперти, уплетаем горячую густую манную кашу.

Галя Филимонова

Когда нас привезли в деревню, мне было четыре года. Помню вой сирен. Помню запах хлеба в поезде — запах, который разбудил меня, и я закричала от страха, что проспала хлеб, и успокоилась после того, как няня сунула мне в рот сладко пахнущий мякиш.

Помню, как мы лежали на зеленой лужайке перед деревянным домом. В доме стучали, что-то строили, а у меня

перед глазами почему-то возник большой каменный дом, серое небо и дядя с фронта, весь перепоясанный ремнями, и конфеты из его рук — мне и сестре…

Помню, как в день приезда я заболела и меня увезли в больницу.

Когда через месяц привезли обратно, весь наш дом был украшен внутри флажками, картинками и воздушными шариками.

В доме было тепло и чисто. И всегда вкусно кормили.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Угоры. Я продолжаю знакомиться с ребятами. Витя Элинбаум, интересный и трудный. Ох, какой трудный! Очень способный, много читает, пишет стихи, интересуется политикой. Неопрятен — любая вещь на нем в течение дня становится тряпкой.

В Ленинграде во время артиллерийского обстрела потерял глаз. Теперь у него протез. Однажды по дороге в детдом я увидела, как Виктор, окруженный деревенскими ребятами, под изумленные выкрики демонстрировал глаз. За это они тут же расплатились с ним четырьмя брюквинами.

У него была отличная память. Он любил пересказывать ребятам прочитанное, таким образом удовлетворяя свое желание быть в центре внимания. Это ему не удавалось, так как ребята не чувствовали в нем ни силы воли, ни твердости. В результате он скатился до паясничания, над ним смеялись, и он стал сторониться ребят, ходил, втянув голову в плечи, угрюмый и одинокий.

Я занялась им. Прежде всего нужно было пробудить в нем чувство собственного достоинства. Поручила ему доклад «Немецкие зверства на оккупированной территории». Он взялся за дело с большим интересом, зарылся в газеты, он был очень доволен, а я еще больше, и назначила его звеньевым. В диктовке в упражнении на союзы вставила фразу: «Я хочу, чтобы ты стал звеньевым, и верю, что ты будешь хорошим пионером». После этого я предложила придумать собственные фразы на союзы и сдать мне тетради. Мой прием удался. В тетради Виктора я прочитала: «Вы поверили мне и поняли меня. Я буду стараться, а вы мне помогите».

Постепенно мальчик подтянулся, обрел некоторую уверенность, выровнялся и успокоился. Однако в дальнейшем с ним было еще много хлопот — человек он был нервный и непредсказуемый.

Ребята в детдоме много пели. Пели, кто что знал. Иногда

запевали грустные: «Позабыт-позаброшен» и «Мама». «Мама» была опасной песней и, как правило, заканчивалась плачем. Поэтому я старалась переключить их на что-нибудь нейтральное, например, просила Иру Синельникову исполнить ее любимую «Гречаныки». Лучше всех пел Женя Ватинцев. У него был приятный и сильный голос. Любимые его песни «Пара гнедых» и «Песня о неизвестном моряке», которую он исполнял особенно задушевно.

У Сашки Корнилова свой репертуар — блатные песни. Он пел их со вкусом и настолько залихватски, что многие заразились этим жанром, и переключить их было трудно.

Вообще Сашка был особым человеком — властным и одновременно ранимым, заводным, озорным, но часто впадающим в грусть или даже отчаяние. Он был начитан, пожалуй, больше всех, но при этом любил изъясняться на блатной фене, пересыпая свою витиеватую речь словами «кающийся грешник», «романтическая баллада», «насунуть», «притырить», «урки», «шкварки» и т. д.

Однажды я случайно наткнулась на оставленную им на тумбочке тетрадь с заглавием «Моя борьба с администрацией». Эпиграф: «Я не переношу приказы». Дальше записи: «1. Чрезвычайно трудно сидеть на уроках. Меня мучают кошмары. 2. Урок геометрии. Учитель зекает, как аллигатор, и не дает пошевельнуться. 3. Учитель вопит, как гад. Ох, как он мне надоел!».

Володя Панфиленок тоже трудный парень. Наверное, из-за своего роста. Он больше других страдал от голода и никак не мог наесться. Наша медсестра Валя однажды сообщила мне, что лежащие в изоляторе с чесоткой (чесотка была бичом детей, переходила от школьников к дошколятам, от воспитанников к взрослым, и справиться с ней удалось только через несколько месяцев). Панфиленок и Элинбаум часто вылезают в четыре утра из окошка изолятора и пропадают где-то до завтрака. Вечерами же едят овощи, яйца, ягоды и пьют молоко.

Я немедленно пошла в изолятор. Не прошло и получаса, как Панфиленок признался, что они с Виктором ходят в деревню Поломы, где меняют на еду вещи Виктора. За рубаху — чугун картошки, за брюки — пару яиц, два огурца и брюквина. «Казенное белье не меняли», — уверял меня Панфиленок. Я сделала вид, что поверила.

После праздника у меня в отряде пропали казенные брюки. Мои розыски ни к чему не привели. Поздно вечером, когда я шла домой мимо изолятора, из окошка высунулся Виктор и попросил зайти к нему. В изоляторе было темно. На койке сидел Виктор, завернутый, как римлянин в тогу, в красное байковое одеяло.

Потом он встал в позу и театрально произнес:

— Я решил помочь вам поймать вора. Этот вор — Панфиленок!

Последовавший разговор с Панфиленком оказался ниточкой, которая помогла размотать целый клубок. Сначала он проклял своего неверного друга, а потом подробно рассказал, где, когда, и что променял он сам. Он назвал еще нескольких ребят, занимавшихся тем же промыслом — обменом казенных вещей на еду в соседских деревнях.

Дело приняло серьезный оборот. Ольга Александровна потребовала любой ценой вернуть казенное имущество. И на другой день утром Ревекка Лазаревна, надев военную гимнастерку и прицепив к ремню внушительную финку, отправилась в Поломы, подхватив для подкрепления Веру Рогову и Элинбаума с Панфиленком как участников мены. Они заходили во все избы, где имел место обмен, и, угрожая судом, получали назад свои вещи.

Вечером все «менялщики» предстали перед директором, и началась разборка. Провинившиеся ребята держались по-разному. Леня Баринов винился легко, слезно просил прощения и клялся, что больше это не повторится. Коля Леонтьев, высокий, всегда улыбающийся парень, держался спокойно. Он сразу признался во всех своих грехах и покорно отправился по деревням собирать все, что успел наменять.

С Виктором Элинбаумом оказалось сложнее. Он отпирался, путался, открывая свои секреты не сразу. Ольга Александровна быстро разобралась в этой игре и приказала запереть его в подвале, чтоб поразмышлял на досуге. Одиночество и темнота сработали быстро, уже на другой день несколько простынь вернулись в кладовую нашей кастеляншки.

С Панфиленком было еще труднее. Сознавшись в экспроприации двух простыней и обмен их на яйца и пряженики (пирожки с картошкой), он подозрительно быстро вернул их. А вечером обнаружилась пропажа двух простыней в соседнем отряде. Вся комбинация оказалась проще пареной репы: вместо того чтобы утруждать себя походом за несколько километров, гораздо проще было забрать одеяло с койки соседа и честно рассчитаться с назойливыми воспитателями…

16 августа 1942 года.

Вечер, посвященный открытию детского дома. Я прочитала свой «Ленинградский дневник», написанный в один присест в мае 42 года.

Пережитое впервые читала на людях. Их искренняя реакция (многие плакали) меня очень взволновала.

Этот вечер еще больше сблизил меня с ребятами. В моих

строках они услышали то, что пережили сами.

18 августа. Мой отряд вчера и сегодня помогал колхозу — теребили лен. День был жаркий, наш участок поля находился недалеко от берега Унжи, поэтому соблазн был велик. Я разрешила сделать перерыв. Однако купаться нам не пришлось. Около спуска к реке мы встретили Ревекку Лазаревну, которая решительно завернула нас назад, сказала что, пока мы не выполним положенную норму, ни о каком купанье не может быть и речи. Норму мы выполнили, но купаться было уже поздно.

Лев Разумовский

Сельсовет выделил нам еще несколько домов рядом с церковью, в которых разместились дошколята с воспитателями, столовая с кухней, лазарет. Началось строительство бани.

Мария Николаевна Рогова организовала кружок кройки и шитья. Я тоже искал дела и организовал кружок рисования. Вспомнив свои занятия во Дворце пионеров, я начал приучать ребят рисовать с натуры — ставил им простые натюрморты, а также поощрял их к вольным композициям — рисуй, что тебе интересно.

Среди ребят самым способным оказался маленький черноглазый мальчик Завен Аршакуни. Он легко схватывал суть моих требований и выражал свою мысль в рисунках лучше всех.

Недалеко от деревни Ступино я обнаружил в овраге выходы бурой глины, накопал ведро и принес ребятам. Так наш кружок рисования превратился в кружок рисования и лепки.

Первое задание вылепить с натуры кошку оказалось слишком трудным. Дети, привыкшие к плоскостным изображениям, вылепили кошек плоскими с тоненькими ножками, свисающими частоколом от живота.

Однако после моих объяснений в нескольких вылепленных фигурках можно было узнать кошек, а кошка Завена была лучше всех! Высушенные фигурки дети с удовольствием раскрасили акварелью. Других красок у нас не было.

После того как мы устроили в столовой маленькую выставку наших работ, Ревекка Лазаревна предложила мне оформить отсек в церкви, отведенный для игр и клубной работы.

Я с радостью взялся за это дело и решил расписать стенки сюжетами из сказок Пушкина, как в «Комнате сказок» в ленинградском Дворце пионеров.

На другой же день один из отсеков церкви был отгорожен высокими деревянными рамами, которые местные столяры

обшили белой чистой фанерой, аккуратно подогнав лист к листу.

Я собрал все имеющиеся материалы — иллюстрации, книги, учебники — и начал работать. Добросовестно перерисовал все иллюстрации Билибина к сказкам «О золотом петушке», «О царе Салтане», «О рыбаке и золотой рыбке», расположив их вольно по четырем стенам.

В центре поместил круг с портретом Пушкина, срисованным со школьной тетрадки.

Работа над этими незатейливыми росписями доставила мне много радости. Открытая мною новая техника — «роспись акварелью по фанере» — дала неожиданный результат: рисунки красиво расцветились на теплом тоне березовой глади.

Занимался я этой комнатой недели две, и все это время ребята с интересом следили за моей работой, радовались появлению новых персонажей, советовали, вспоминали стихи, сопереживали, т. е. оказались стихийно вовлеченными в творческий процесс.

Моя работа и контакты с ребятами имели неожиданное продолжение. Однажды утром Ревекка Лазаревна вызвала меня к себе и сказала:

— Ты уже взрослый, и дальше считать тебя воспитанником мы не можем. Мы убедились, что ты можешь быть полезным, если начнешь работать в детдоме как пионервожатый третьего отряда. Тебе будет выдаваться зарплата, и теперь ты сможешь ночевать не в церкви, а дома.

— А что я должен делать?

— Проводить воспитательную работу: следить за порядком, организовывать отряд на полезные дела, проводить политинформации по газетам, учить ребят ходить на лыжах, рассказывать им то, что считаешь нужным. В общем, ты должен будешь делать все то, что делает сменный воспитатель. Вот, например, сегодня нужно во время уложить детей спать и остаться дежурить на ночь. Согласен?

— Так они меня не послушаются!

— Послушаются. Я объявлю о твоем назначении, и все будет в порядке.

Слегка ошеломленный таким предложением, я весь день думал. Посоветовался с Миррой — и согласился.

Вечером Ревекка Лазаревна привела меня в отряд, представила, сказала, что ребята отныне должны меня слушаться и относиться ко мне как к воспитателю и ушла. Я остался один на один с тридцатью гавриками, каждый из которых был моложе меня всего на три-четыре года. С любопытством разглядывали они меня в новой для них роли. Лукавство и скепсис в их глазах

были настолько откровенны, что я сначала растерялся. Собравшись, я стал рассказывать то, что знал сам о художниках, об их жизни, о судьбе их картин. Постепенно скепсис сменился интересом, а когда я рассказал о сумасшедшем, который порезал картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», посыпались вопросы. К десяти часам я закончил и предложил ребятам идти спать, что они, к моему удивлению, послушно выполнили.

Однако радость моя оказалась преждевременной. Увлекшись собственным рассказом, я забыл, что в церкви, кроме моих ребят, размещались еще два отряда — второй и четвертый, еще шестьдесят человек. Войдя в полутемный зал, освещенный двумя, свисающими с потолка керосиновыми лампами-молниями, я застал такую картину. Некоторые ребята уже лежали под одеялами; другие, собравшись в группки, что-то бурно обсуждали; несколько девочек у открытого жерла печи слушали чтение сидящего в центре их кружка с книгой на коленях Кольки Иванова; несколько мальчишек в кальсонах и рубахах прыгали с койки на койку и с хохотом лупили друг друга подушками. В зале стоял невообразимый шум. Перекрывая его, я закричал:

— Ребята! Десять часов! Отбой!

Несколько голов поднялись с подушек и с удивлением уставились на меня; остальные, не обращая внимания, продолжали свои разговоры и игры.

— Отбой! Всем по кроватям!

Ноль внимания. Что делать? Укладывать каждого насильно? И вдруг с койки среднего ряда поднялась худая фигурка. Два пальца в рот — и оглушительный свист перекрыл все шумы. В наступившей на секунду тишине прозвучал резкий повелительный окрик:

— Тихо, шпана! Лева дежурит!

Дальше было, как в кино. Сначала, как по мановению волшебной палочки, разом выключился звук… Потом ребята быстро нырнули под одеяла, уже через несколько минут в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь дружным сопением. Я пробрался по ряду к Сашкиной кровати. Он не спал.

— Ну, герой! Спасибо тебе!

— И вам мерси, товарищ воспитатель!

— Как это ты их сразу? Ты мне здорово помог!

— А чего тут такого? Пара плевых. А знаешь, почему помог?

— Почему?

— Наклонись. На ухо скажу.

Он садится, я наклоняюсь.

— Потому что шпана не ударит урку в грудь…

Сашка хохочет. Я зажимаю ему рот рукой и валю на койку.

— Молчи, дурак, разбудишь!

— Разбужу — снова положу! — буркает Сашка. Мы расстаемся, довольные друг другом.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

30 августа 1943 года. К сожалению, не все было розово в нашей коллективной жизни. Мне пришлось столкнуться с фактом детской зависти и детской жестокости.

Пределом мечтаний детей всегда была работа на кухне. Зная это, я старалась пропустить через кухню весь мой отряд. Однажды я отправила на кухню Иру Синельникову, синеглазую, тихую, всегда грустную девочку. Она была замкнута, неразговорчива, не сумела, как другие, сблизиться с кем-нибудь, найти себе подругу. На следующий день я встретила Иру бледной, с распухшим носом и заплаканными глазами. На вопрос, что с ней, она тихим голосом попросила меня снять ее с кухонной работы. На мой вопрос о причине отказа она не ответила и ушла, так ничего и не объяснив. Вечером я пошла к ней поговорить на эту тему и, поднимаясь по лестнице, услышала чей-то плач. Оборачиваюсь и вижу Нину Николаеву, которая работала вместе с Ирой на кухне.

— Что с тобой? О чем слезы?

— Я боюсь идти спать. Меня тоже будут бить, как били Иру…

— Как бить? За что? Кто бил? Ну-ка рассказывай.

Молчит.

Тогда я поднялась в спальню девочек и там очень быстро узнала обо всем происшедшем. Организовала избиение Ляля Спажева, маленькая юркая девочка, очень активная, оказывавшаяся всегда в центре детских игр, ссор и разборок. Подговорив девчонок заранее, она крикнула ночью «Полундра!», после чего целая группа накинула одеяло на спящую Иру и начала ее избивать.

На другой день был собран совет детского дома и все участники заговора.

Все девочки, принимавшие участие в этом гнусном деле, плакали, изображали себя жертвами и валили вину друг на друга. Одна Ляля была относительно спокойна и членораздельно отвечала на вопросы. На главный вопрос, почему били, ответ был:

— Били, потому что все били.

Совет детдома постановил: всех, кто избивал, изолировать от коллектива. Их на время рассадили в баню, на колокольню, в отдельные комнаты. Лялю Спажеву постановили исключить из пионеров, а также из воспитанников детдома и временно

перевести ее на работу няни в дошкольной группе. Она приняла это решение внешне спокойно и вечером переселилась из церкви в дом с дошколятами. Прошло около двух недель. Девочка сильно изменилась. На работе она не уставала, но изгнание из детского коллектива далось ей не просто. Из бойкой задиры она превратилась в какое-то жалкое существо, замкнулась в себе, ходила с опущенной головой.

Мне захотелось помочь ей. В конце концов, в чем состояла наша главная задача? Вернуть к жизни ребят, которым война, блокада жестоко переломала личные судьбы. Мы теперь в равной мере несли ответственность за всех них — за добрых и злых, за легких и трудных. Надо было готовить их к будущей жизни, и от нас, от нашей гибкости, ума, нравственных качеств зависело, с чем, с каким багажом они покинут детский дом: с запасом злобы и обиды или с добром, с пониманием нашей реакции на их дела и ощущением справедливости как общего климата детского дома.

Надо было возвращать Лялю в детский коллектив. Но куда? Возвратить в ее же третий отряд? Я боялась рецидива. Поэтому я решила перевести в четвертый отряд, взять к себе.

Я надеялась, что устоявшийся климат моего отряда, в котором ей было бы невозможно верховодить, повлияет на нее хорошо.

После серьезных бесед и получении согласия сторон (Ольга Александровна, вопреки моему ожиданию, сразу согласилась, а ребят пришлось уговаривать), Ляля под мою диктовку написала заявление на имя директора и в адрес совета детдома и в эту ночь спала уже в общей спальне.

Когда я пошла проверить, как она устроилась, она внезапно бросилась мне на шею и заплакала. С тех пор она явно переменилась. Стала спокойной, деятельной, слушалась меня с первого слова и приходила ко мне со всеми своим проблемами.

Неожиданные взрывы настроений, поступки блокадных детей часто ставили меня в тупик.

Однажды после переезда нашего отряда в сельсовет за мной прибежали взволнованные Витька Шерстюк и Юра Шумелин.

Из их слов я поняла, что Виктор ударил Лялю по голове и Ляля умирает.

Я бросилась бежать в сельсовет, проклиная себя за свою короткую отлучку.

Ляля лежала бледная, неподвижная и почти без пульса. На темени — большая шишка. По дороге я, к счастью, встретила медсестру, и она побежала в изолятор за камфарой.

Укол подействовал почти сразу. Бледность сошла, и Ляля заснула.

Этот случай показал, что ребят никогда нельзя оставлять одних.

Я стала искать виновника происшествия. Ребята, оказывается выгнали его на улицу.

Поздно вечером он вернулся. Испуганный, взъерошенный, приготовившийся к крику, нападениям, обвинениям.

Я выгнала любопытных и спокойно предложила ему сначала поужинать, а потом поговорить.

Реакция оказалась настолько же неожиданной, насколько бурной. Он разрыдался и заявил, что не хочет жить. «Отпустите меня добром, я все равно убегу, куда глаза глядят…».

Я сидела молча, ожидая, когда закончится эта истерика. Разговор, упреки, обвинения или нравоучения в этот момент были бессмысленны. Я предложила ему попытаться уснуть и перенесла разговор на другой день.

Драки, обиды, выяснения отношений вообще характерны для эмоциональных и реактивных от природы детей. У наших детей все эти качества были особенно обострены.

Валя Иванова

В Мантурово поезд пришел ранним утром, и мы отправились дальше, минуя леса, поля и придорожные деревни.

Меня вместе со старшими ребятами поселили в церкви, а Тосю с малышами в деревянном, как сказали, поповском доме. Я сразу же стала просить Ольгу Александровну вызвать из Ярославской области мою сестру Люсю. После приезда мы с Люсей никогда не расставались. Всегда вместе, ночью и днем, в церкви и в столовой.

С 1 сентября началась школа. Я оказалась в шестом классе вместе с деревенскими ребятами. Русский язык и литературу вела у нас наша воспитательница Мирра Самсоновна. Она давала нам хорошие знания. Я и мои подруги хорошо учились по основным предметам, но немецкий «фашистский» язык никак не хотела учить, о чем в дальнейшем я не раз пожалела.

Уроки мы делали в пионерской комнате, расписанной на сюжеты сказок Пушкина. Уютно, тепло и таинственно было в этой комнате вечерами.

Летом мы ходили босиком. Желающим выдавались лапти и онучи. К зиме всем нам сшили зимние пальто на вате из одеял защитного цвета и раздали валенки. Рукавицы мы шили себе сами или вязали, кто как умел. Моя Люся была освобождена от полевых работ, потому что вязала всем кофты, распуская старые.

Из нескольких старых и рваных получалась одна новая и красивая.

Я была прикреплена к кастелянше. Гладила, чинила белье, пришивала пуговицы, готовила белье к банному дню. Все воспитанники детдома имели свои личные номера, которые каждый из нас вышивал на своем белье, чтобы не перепутать с чужими.

В Угорах были многодетные семьи фронтовиков, и мы, пионеры, шефствовали над ними: мальчики пилили и кололи дрова, девочки нянчились с малышами, я пару раз стирала в щелоке из золы. Мыло было редкостью. Когда настала пора ягод, нам сделали из больших консервных банок ведерки, с которыми мы ходили в лес. Каждый должен был сдать определенное количество ягод или грибов на кухню.

В детдоме нас приучали мыть полы, готовить, гладить. Ольга Александровна учила нас вышивать на пяльцах. Столы в столовой придвигались к окнам, мы усаживались на скамьи со своими пяльцами, вышивали и пели, как в тереме в старину. Вообще, песни всегда сопровождали нашу детдомовскую жизнь. Мы пели на прогулках, по дороге в лес, в школу, в праздники и будни.

Умение вышивать осталось у меня на всю жизнь, и потом я даже зарабатывала этим ремеслом.

Очень любили мы театр. Особенно запомнилась мне постановка пьесы «Голубое и розовое». Я играла в ней гимназистку. Костюмы делали мы сами. Форменные гимназические фартуки шили из накидок на подушках. Работа на репетициях и участие в спектакле так мне понравилось, что в дальнейшем я дважды поставила эту пьесу со своими учениками в Тихвинском педучилище и в Кондратьевской средней школе.

Ревекка Лазаревна Златогорская

Поскольку мы жили в глуши и были оторваны от мира, воспитатели должны были проявлять все свои способности и все свои возможности, чтобы сделать жизнь своих детей краше и интересней. Моя задача состояла в том, чтобы давать идеи, и в этом плане, мне кажется, мы прожили неплохо. Что касается материального благополучия, то тут трудно переоценить вклад Ольги Александровны. Среди других детдомов наш, насколько я знаю, был наиболее обеспечен необходимым питанием и одеждой.

Если старшие дети доставляли нам много хлопот, то дошколята всегда радовали. У них всегда царили образцовый

порядок и чистота.

Можно с ответственностью сказать, что дошкольные работники во главе с Марией Степановной Клименко совершили настоящий подвиг.

Дети из приемников попадали в детдом стриженными наголо, у нас же волосы у девочек отрастали, и со временем у каждой был завязан бант. Одежда на детях всегда была чистой, у каждого через плечо висела сумочка с носовым платком, украшенная вышивкой. У всех дошколят были мягкие домашние тапочки, также сделанные руками их воспитательниц.

В дошкольном отделении существовал четкий распорядок дня. Утром умывание, полоскание ртов, завтрак, затем прогулки, игры, обед, тихий час. Во время классных занятий Люся Чидина играла на фисгармонии и учила детей танцам и песням.

В праздники малыши активно участвовали в представлениях: пели, играли, читали стихи и танцевали.

Лев Разумовский

Мы с мамой и Миррой поселились в одном из домов недалеко от церкви.

Наша хозяйка Анна Флегонтовна Шаброва, высокая крепкая крестьянка лет пятидесяти, жила со своими детьми: худенькой белобрысой Лизкой, четырнадцатилетним Колькой, десятилетней рыжей Галькой и четырехлетним крепышом Толькой. Анна Флегонтовна вставала до петухов, доила корову, кормила ее, растапливала печь, готовила еду на всю семью. Девчонки приносили воду из колодца, сливали ее в чистую бочку в сенях, мыли полы в избе и часто садились за прялки.

Я впервые в жизни увидел, как прядут, как делается нитка первобытным способом. Пряха ставила прялку на лавку, садилась на ступицу (сиденье прялки) и начинала теребить пальцами пук кудели, привязанный к верху прялки. Нить из под ее руки тянулась к веретену, которое она одновременно ловко вращала другой рукой. Скрученная нить наматывалась на веретено, пока не кончалась куделя.

Колька выполнял мужицкую работу: точил пилы, делал топорища, пилил и колол вместе с матерью дрова.

При доме был огород, позади дома большой участок был засажен картошкой, которая составляла главную основу питания семьи целый год. Хлеб нигде не продавался. Крестьяне сами пекли его, добавляя жмых, потому что, как они нам сами рассказали, колхоз расплатился с ними из нормы четыреста

граммов зерна на трудовой день, «а сколько на этот год придется, то и того хуже…». Про нашу хозяйку в деревне говорили, что она хорошо живет: у нее корова есть, дом справный, чего ей не жить.

Коров в деревне было немного, а понятие «хорошо живет» было синонимом понятия «хорошо ест». Тот, кто ел в деревне досыта, тот, значит, и жил хорошо.

А дом был действительно крепкий, с добротным высоким крыльцом, с наличниками на окнах, с двумя комнатами и просторной кухней. Половину кухни занимала большая беленая русская печь с лежанкой, с широкой и глубокой топкой, закрывающейся железной заслонкой, и с маленькими квадратными отверстиями «печурками», в которых всегда сушились портянки, шерстяные носки или рукавицы.

Флегонтовна рассказывала, что, пока не было бани, мылись в самой печи, сидя согнувшись в три погибели на рогожке на теплом поду. Моющемуся подавали туда кадушки с водой для мытья и ополаскивания. Особое искусство для вымывшегося и распаренного состояло в том, чтобы вылезти из печи, не задев спиной, головой и плечами густо покрытых сажей стенок и потолка топки.

Я впервые увидел, как ловко наша хозяйка орудует у печи ухватами на длинной ручке («хватушками» по-угорски), вытаскивая черные чугуны из самых дальних углов печи при помощи круглого деревянного валика. Вытащенный чугун с горячими щами ставился на середину деревянного, выскобленного ножиком стола, вокруг которого усаживалась на лавках вся семья.

Впервые я увидел и сковородник, также на длинной ручке, которым захватывались огромные сковороды с жареной залитой яйцами картошкой. Это блюдо красивого золотистого цвета называлось почему-то «яблошник». К обеду сама Флегонтовна брала краюху хлеба и аккуратно, даже благоговейно отрезала каждому по толстому ломтю, прижав хлеб к груди. Остальное тут же заворачивалось в чистое полотенце и куда-то пряталось до ужина. Хлеб, мука были драгоценностью. Забегая вперед, скажу, что в следующем, сорок третьем, году (третий год войны) обнищавший колхоз вообще ничем не расплатился с колхозниками, и тогда-то я и услышал крамольную частушку:

Трактор пашет глубоко,
А земелька сохнет.
Скоро ленинский колхоз
С голоду подохнет.

Вера Николаевна Рогова

Я и Мирра работали сменными воспитателями в четвертом отряде самых старших ребят по 14–16 лет.

Для старших детей мы постоянно проводили политинформации. Материалы брали из газет «Правда», «Комсомольская правда» и «Ленинские искры», которые я регулярно приносила с почты. Все мы, взрослые и дети, пристально следили за событиями на фронте, сводки Информбюро ежедневно вывешивались на стене в столовой. И мы понимали, что наша судьба зависит от успехов Красной Армии. Война была далеко, но ее дух пронизывал все — и наше пребывание в Угорах, воспоминания о Ленинграде, и сиротство детей, их рассказы о родителях, и мысли и чувства в стихах и прозе, звучавших в нашем детдоме и в праздники, и в будни.

Летом 1943 года исчез Аркаша Терентьев, воспитанник моего отряда. Поиск не привел ни к чему. Было много переживаний, версий, хлопот, неприятностей. Через два года, уже будучи в Ленинграде, я как-то обнаружила на двери своей квартиры надпись мелом: «Я, Аркадий Терентьев, был у Вас. Простите».

Потом в очередной приезд, застав меня дома, рассказал свою историю. По его словам, он убежал из детдома потому, что его постоянно бил Сашка Корнилов. Аркадий подкопил хлеба в дорогу, украл лодку на Унже и на ней поплыл по течению. Где-то пристал к речной флотилии и с ней вышел по Волге к Сталинграду.

Поступок Аркадия Терентьева был, конечно, из ряда вон выходящим. Из детского дома, кроме него, никто не бегал.

Лида Филимонова

Самое яркое воспоминание после приезда в Угоры — нас повели в малинник. Нашей радости не было конца. Мы набросились на спелую, красную, сладкую, как мед, малину — это было чудо!

Дальше начались будни. Строгий режим, школа и труд. Конечно, мы еще были очень слабы, но все-таки понемногу выправлялись. Трехразовая еда и деревенский воздух делали свое дело.

Нас разбили на отряды. В нашем четвертом отряде командиром была Нина Крепкова, темноволосая красивая девочка. Потом она вышла замуж за Володю Громова — это оказалась единственная детдомовская пара.

Часто я дежурила по кухне, где мы чистили картошку, мыли посуду, резали хлеб, убирали столы. Я была санитаркой — следила за чистотой и боролась с чесоткой: мазала больных ребят ихтиоловой мазью.

Лес рядом с деревней был замечательный, полный черники, земляники, брусники и грибов.

Однажды мы с несколькими девочками, заговорившись, оторвались от отряда и заблудились. Плутали долго, кричали, но никто не откликался. Нина Иванова перегрелась на солнце, и ей стало плохо. Мы сплели руки и понесли ее. Она говорила: «Оставьте меня!» Но мы все равно несли и наконец по тропке вышли на дорогу с другой стороны деревни Поломы. Вернулись часа на два позже остальных, получили, конечно, нагоняй.

Еще помню, что 23 февраля у нас была военная игра. Мы разделились на два войска. Наше защищало ригу, где мы построили крепость из снега и заготовили арсенал: много-много снежков, лепили до самой ночи и прятали от противника. Потом был снежный бой. Все было очень здорово!

После долгой зимы все обрадовались весне. Солнце, тепло, пробилась первая травка, потом все кругом зазеленело. Деревенские ребята научили нас есть песты (болотные растения). Они были сладкие и безвредные. Грызли также смолу от елок, сосали сок из надреза на березах — в общем, весна принесла много радости.

Однажды мы с девочками делали грядки. Кто-то из нас вытянул из земли белый корешок, попробовал его и сказал:

— Сладкий! Наверное, это петрушка!

Мы все стали искать такие корешки и грызть, они действительно были сладкие. Однако скоро у меня заболела голова, да и остальные почувствовали себя плохо. Мы бросили грядки и побежали в церковь, потому что с каждой минутой становилось все хуже: голова кружилась, и все поплыло перед глазами. У церкви мы наткнулись на Эсфирь Давидовну. Я успела ей рассказать про корешки и потеряла сознание. Как узнала потом, на четыре дня.

Нас спасли Ольга Александровна и Эсфирь Давидовна, которые бросились отпаивать нас молоком. Меня и Валю Урбан поили, разжимая зубы, так как мы были в самом тяжелом состоянии. Оказалось, мы ели белену…

Иногда мы, старшие девочки, подменяли нянечек, работали с дошколятами, а нянечки в это время трудились на огородах.

Каждый раз седьмого ноября мы всем детдомом устраивали демонстрацию: ходили по Угорам с флагом. Местные жители смотрели на нас с удивлением.

Мирра Самсоновна, которая к каждому празднику писала много стихов, иногда посвящала стихи отдельным ребятам. Мне она подарила к моему дню рождения 28-го февраля добрые стихи о том, как я люблю свою сестру.

Ее мать, Татьяна Максимовна, по моим воспоминаниям, была несовременная женщина, очень добрая и сентиментальная. Про нее говорили, что из-за этого она дисциплину держать не умела, прикрикнуть ни на кого не могла.

Зина Тютикова

В Угорах я очень любила нашу самодеятельность. В пьесе «Голубое и розовое» Эсфирь Давидовна поручила мне роль директорши гимназии.

Вообще у нас было много интересного. Мирра Самсоновна устраивала литературные игры-викторины. Например, кто больше всех назовет пьес Шекспира. После каждого названия она трижды хлопала в ладоши, и тот, кто успевал за это время еще что-то вспомнить, становился победителем.

Местная учительница подарила детдому старый патефон и две пластинки. На них были два танго «Дождь идет» и «Девушка играет на мандолине». Вот под эту музыку с хрипотцой и шипением мы без конца танцевали. Однажды даже приз выиграли на вечере танцев.

У нас в детдоме существовала традиция — тому, кто отличался, поручали поднять флаг на линейке. Мне тоже досталась эта награда за то, что, теребя лен, я выполнила норму за троих.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

В середине сентября 42-го года наш отряд перевели в деревню Железцово, расположенную на берегу Унжи. Нам выделили большой деревянный дом с обширной кухней и четырьмя комнатами. Одну из них (самую маленькую) занимала хозяйка этого дома, старуха Ваганова, со своей родственницей, тоже старой женщиной, приживалкой, которая ее обслуживала. Про хозяйку в деревне шел слух, что в прошлом была она помещицей, владелицей Железцово. Еще говорили, что была она шибко грамотной — в самом Горьком гимназию кончала. Потом ее раскулачили, уплотнили, и в ее добротный большой дом въехал сельсовет. Слово «сельсовет» плотно укрепилось среди народа как

название дома и перешло к нам. Так мы и говорили: «Пойду в сельсовет», или «В сельсовете случилось ЧП».

ЧП действительно случилось в ночь на 23 декабря 42-го года. Олег и Лева, вернувшиеся из Угор, открыли двери и со свежего морозного воздуха сразу почуяли неладное: дым и сильный запах угара. Стали расталкивать спящих ребят. Несколько человек проснулись с рвотой; другие плакали, жалуясь на головную боль. Сразу были открыты все двери, и ребята, быстро одевшись, выбежали на улицу. Некоторых было не поднять: Нина Николаева и Рита Кипровская были в полуобморочном состоянии.

Прибежавшие из Угор Ольга Александровна и Вера Рогова быстро организовали сани, на которые погрузили особенно пострадавших. Лева и Олег впряглись в них и повезли больных в лазарет. За санями шли Вера и Ольга Александровна. То ли общее дело, то ли лунная ночь и мерное поскрипывание за спиной саней ввергли «лошадей» в лирическое состояние, и они запели: «Пара гнедых, запряженных с зарею», а потом: «Идут, с ними длинные тени, две клячи телегу везут, лениво сгибая колени, конвойные сзади идут…»

Угоревшие ребята на чистом морозном воздухе начали довольно быстро приходить в себя и к утру, ко всеобщей радости, полностью оклемались и сами вернулись в «сельсовет».

Виновника ЧП искать не пришлось. Им оказался Женя Резвов, черноволосый угрюмоватый парень, который был в этот день истопником. В своем грехе он признался сам. Не дождавшись, чтобы головешки полностью погорели, он закрыл печные вьюшки и улегся спать… Сам он не пострадал, так как спал в другой комнате, где не было печки.

Лев Разумовский

После этой истории Мирра попросила меня несколько дней и ночей провести в «сельсовете» — посмотреть за печками и заодно за ребятами, во избежание каких-нибудь новых ЧП.

Я с радостью согласился, так как в четвертом отряде жили мои друзья: Олег, Сашка и Женька. С ними всегда было интересно и весело. Мы много гоняли на лыжах. Особое же удовольствие доставляли нам придуманные Олегом ночные катания с крутых, высоких берегов Унжи. Из дома на эти катания я уходить не мог — мама наверняка бы волновалась. Про наши же ночные вылазки из «сельсовета» она знать не могла и спала спокойно.

Вообще, всяких историй у нас хватало. Героем одной из них стал Сашка. По натуре он был бунтовщиком. Но при этом

чрезмерно ранимым. Любую, даже мелкую обиду или несправедливость по отношению к себе он воспринимал гипертрофированно и переживал мучительно.

Однажды Ольга Александровна за какую-то провинность вызвала его к себе и отчитала в свойственной ей резкой манере. Сашка вернулся в «сельсовет» мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал, на вопросы не отвечал. А когда пришла пора ложиться спать, он вместо своей кровати улегся на голом столе. На наши недоуменные вопросы отвечал так:

— Она сказала, что я позорю детский дом и мне в нем не место! А раз не место, то я и не буду занимать детдомовское место! Пускай подавится!

— Да брось ты! Ложись нормально. Все равно она ведь не узнает, где ты спал.

— Ни за что!

— Ну возьми хоть одеяло. Укройся.

Сашка с бешенством отшвырнул одеяло в угол. После нескольких попыток уговорить его мы отстали.

Ночью я проснулся и зажег керосиновую лампу. Сашка спал на прежнем месте, скрючившись от холода. Я накинул на него одеяло. Чем закончилась его забастовка, не помню. Кажется, его уговорила Мирра, с мнением которой он считался.

Другая история, романтическая.

У Ольги Александровны было двое детей: двухлетний белоголовый Сашка и четырнадцатилетняя Нонна, красивая девочка.

Со временем, когда ребята стали поправляться, а у девочек отросли обстриженные волосы, старшие мальчики начали приглядываться к ним. В Нонну влюбилось сразу двое, Женька и Сашка. Из двоих — порывистого, резкого и непредсказуемого Сашки и веселого, легкомысленного Женьки — Нонна предпочла Женьку. Сашке же сказала что-то резкое и обидное.

Однажды ночью мы не спали: травили анекдоты, перебрасывались шутками, Женька монотонно напевал какую-то песенку. Сашка лежал молча и вдруг вскочил с постели с криком:

— Это все из-за моей больной ноги! Утоплюсь! — ринулся из избы. Мы бросились за ним…

Это была сумасшедшая картина! Ярко светила полная луна, темнел на снегу сруб колодца с журавлем, а рядом с ним, босые, в кальсонах, мы боролись с Сашкой, который отчаянно рвался к колодцу, отпихивая нас руками и ногами, а мы, вцепившись в него, что-то орали и тянули его к крыльцу. Наконец общими усилиями нам удалось его перебороть, втянуть в дом и уложить. Постепенно он утих. А мы, стуча зубами, забрались под одеяла,

набросив на себя сверху пальто и куртки.

Нина Иванова

Не помню, зачем меня послали в Железцово, я разговорилась с хозяйкой дома старухой помещицей, которую мы звали «графиней Ниной», и она всегда казалась мне женщиной из другого мира. Она всегда сидела на веранде в кашемировом платье. Платью, наверное, было сто лет. С ней связывалась какая-то тайна, легенда — живая помещица, которую обслуживала ворчливая тетя Катя, ее крепостная крестьянка, тоже совсем старая. Она рассказывала, что ей здесь раньше принадлежала большая усадьба с яблоневым садом. Был муж, с которым она ездила в Париж, откуда они привезли очень много красивых вещей, от которых ничего не осталось. Я спросила:

— Ведь была революция. Почему же крестьяне вас не тронули?

Она ответила:

— Это у вас была революция, а у нас все было тихо и спокойно. Я хорошо относилась к крестьянам, и никто нас не трогал. В саду было много цветов, много сирени, — добавила она, — А теперь… — и махнула рукой.

— А муж ваш где?

— Муж после революции уехал в Париж, забрал все мои драгоценности, а я так и осталась здесь одна, пирожок ни с чем…

На меня произвела впечатление ее интеллигентная речь и то, что она ни о чем не сожалеет. Пенсии у нее, конечно, никакой не было, питались обе старухи с огородика, который возделывала тетя Катя. Была у них коза, да иногда старые крестьяне что-то по доброте душевной подкидывали — то молочка кринку, то картошки мерку.

Когда она зимой умерла, сани с гробом провожала одна Катя.

Лев Разумовский

Вечер в церкви. В эту ночь дежурю я. Объявляю отбой. Ребята ложатся мгновенно, без обычной суетни и мелких проволочек. Через пять минут все под одеялами, и гул их голосов сразу смолкает.

Это образцово-показательное укладывание — никак не моя воспитательная заслуга. Все объясняется очень просто: Сама Ольга Александровна обходит ряды коек, делает замечания,

поправляет одеяла. Бросает отрывочные фразы. Судя по голосу, порядком довольна, даже шутит.

Ребята это моментально почувствовали:

— Ольга Александровна! Спойте нам! — кто-то из девочек.

— Поздно уже. Вам спать надо.

Спокойная интонация заставляет подняться с подушек несколько голов.

— Спойте! Мы скорее заснем! Пожалуйста, спойте!

— Ну, хорошо. Я спою вам колыбельную.

«В комнате, уютно, тихо и тепло», — запевает Ольга Александровна. Голос у нее высокий, чистый, поет она с чувством… В церкви хорошая акустика. Огоньки керосиновых ламп чуть высвечивают стены и своды. Дети притихли и внимательно вслушиваются в мелодию и добрые слова:

Месяц серебристый глянул нам в окно.
Расскажу я сказку. Песенку спою.
Баю-баю-баю — баюшки баю…

Я слушаю с интересом, испытывая противоречивые чувства. Эта женщина — сплошные контрасты! Ведро с хлебом за борт — и эта ласковая песня!

Я знаю, что дети боятся ее резкого крика, яростных вспышек; я знаю, что многие взрослые с трудом переносят ее командный тон и недопустимую форму обращения; но я также знаю, что теми же методами она выбивает все лучшее для детдома от местных и горьковских властей: питание и одежду.

Хорошо, что ты забот не знаешь,
Пусть они проходят в жизни стороной.
Я отдам тебе ночи бессонные,
Спи спокойно, мой сын дорогой…

Ольга Александровна желает всем спокойной ночи и уходит. С нескольких коек слышны сморкания и всхлипывания.

Я пригашаю свет керосиновых ламп.

Однажды мама вернулась из детдома совсем расстроенной и сказала, что ее ночное дежурство в отряде малышей окончилось плачевно.

— Что произошло?

— Вечером после ужина я обычно рассказываю им сказки. Потом высаживаю на горшки и затем укладываю. Многие

засыпают не сразу, мечутся, зовут маму, плачут. Я придумала, как их успокоить. Брала свои два куска пиленого сахара, делила их на маленькие кусочки и каждому давала такую вот конфетку. Пососав ее, они сразу засыпали. За этим делом и застала меня Ольга Александровна, накричала на меня, назвала дерьмовым воспитателем и сказала, что завтра уволит…

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

В середине октября к нам приехала сестра Ольги Александровны Антонина Лаврентьевна Каверкина с сыном Игорем и трехлетней Машей. Мы сразу подружились. Антонина Лаврентьевна — обаятельная, душевная женщина, как-то органично и спокойно вошла в коллектив, став одной из воспитательниц дошколят. Игорь тоже быстро сошелся с ребятами.

После того, как мой отряд был переведен в новое здание, мы зажили своей, несколько обособленной жизнью. Нашим мучением были полы. Кто бы из администрации не приходил, все говорили, что пол грязный. А мы эти полы мыли ежедневно и по дежурству, и по нарядам. Система нарядов за провинности сразу по приезде была введена администрацией и существовала параллельно с системой очередных дежурств.

Второй моей заботой стала посуда, которую били немилосердно, особенно стаканы. Приходилось проводить постоянные беседы на «стаканную тему», запрещая разводить в них чернила, использовать как пепельницы и т. д.

В «сельсовете» всегда было шумно и людно. Из школы мы возвращались вместе, толпой, вместе хлюпали по грязи, которая потом оказывалась на свежевымытом полу. И мытье начиналось снова.

Очень скоро по приезде, в октябре 42 года меня пригласили работать в Угорскую среднюю школу — семилетку. Приглашение приняла с радостью. Я снова стала заниматься своим прямым делом, в котором чувствовала себя, как рыба в воде. Здесь я чувствую себя уверенно, у меня много разработок и новых идей. Обучать детей русскому языку и литературе, знакомить их с шедеврами мировой литературы намного интереснее и привычнее, чем подсчитывать разбитые стаканы или украденные простыни, хотя я и понимала суровую необходимость этой стороны жизни.

В школе свой коллектив. Директор — Анна Григорьевна Панова грамотный работник. Начитана. К ленинградским коллегам относится уважительно. Ее муж, Кронид Васильевич,

инвалид войны, могучий и веселый мужик, стал завхозом детдома и с первых дней зарекомендовал себя как деятельный и инициативный человек.

Завуч Софья Исааковна Ламанен — преподаватель алгебры, геометрии, физики и истории. Очень сердечная женщина, ленинградка. Во время блокады потеряла мужа и сына.

Я присутствовала на уроке географии. Учительница давала материал точно по учебнику. Тема «Хозяйственные и политические связи Германии». Меня поразило, что она ни словом не обмолвилась о том, что Германия находится в состоянии войны с нами… Когда я спросила ее об этом, она покраснела и сказала:

— Но ведь этого нет в программе…

Елизавета Михайловна Смирнова — агроном. Преподает немецкий, черчение и рисование. На уроке рисования она повесила на доске смятую бумажку, на которой ею было нарисовано дистрофичное яблоко, и предложила детям его срисовать. В классе было полутемно, ребята шумели, бросались карандашами, с третьей парты «учебное пособие» было вообще не видно.

Остальной коллектив как-то бесцветен. Большинство не дружит с книгой, на уроках не выходят за рамки программы. Ссорятся, мирятся, сплетничают. На вечеринках пьют водку, поют частушки.

Особенно удивляет их отношение к войне. К сводкам Информбюро они абсолютно равнодушны, как к событиям на Марсе. Какой контраст с ленинградцами!

Все поглощает у них быт. Все заботы о пропитании. Война не задела их, как нас. Только мужики ушли, и жить стало голоднее. Учителям, как и колхозникам иногда платят натурой — зерном, мукой. У каждой учительницы свой огород, иногда коза, изредка корова. Забот хватает. Образ жизни не изменился, место проживания осталось прежним. Может быть отсюда это равнодушие?

Учительская работа — одна из немногих, требующая отдачи максимума душевных сил. И в этом ее трудность и привлекательность.

За месяц освоилась. Веду пятый и шестой классы. Уровень развития ребят удручающий. Предстоит много и упорно работать. Вспоминаю мой дебют в десятом классе сестрорецкой школы. Там ребята писали мне рефераты студенческого объема и качества… Где они сейчас? На каких фронтах?

Здесь же сплошные перлы. Объясняю согласование определений и причастий. Говорю, что они характеризуются различными суффиксами, что «вш» — суффикс причастия, привожу примеры: уставший, пропавший.

— Поняли?

— Да!

— Напишите предложения, в котором есть причастие с суффиксом «вш». И Олег с посветлевшим лицом пишет на доске: «Вша — это насекомая»…

Местный диалект. Это очень интересно. Не «Он лицом на меня не похож», а «У него маска не та». Не «навоз», а «назем», не «похлебка», а «делегатка» или «пятилетка».

В Угорах не говорят «Это было в позапрошлом году», а «Это было в третьем годе». Вместо «когда» — «коли», вместо «тогда» — «толи», вместо «даже» — «нали», вместо «если так» — «будя так». В Угорах ты не «курильщик», а «табакур». Выразительно! «Перемогает» — «перебарывает». «Мост» — крыльцо. «Хинькает» — по-угорски «плачет». Может быть, это искаженное «хныкает».

Чем дальше, тем интереснее вникать в угорский диалект. «Сбитень» — это место, где собираются парни и девушки для гулянки. «Бараба» — темная комната, в которой уединяются пара. «Бараба» — обязательный элемент «беседок» — традиционных вечеринок, в основном зимой, с прялками, песнями, частушками и плясом. «Галушливая» — веселая, радостная. «Аландась» — недавно. «Лишо» — сейчас. «Погоучим намедни» — поговорим после. «Нагансник» — брючный ремень. «Она напетлит вам» — наговорит лишнего.

15 ноября 1942 года. Продолжаю совмещать детдом со школой. С трудом преодолеваю сложности с дисциплиной. Это в равной степени относится как к сельским детям, так и детдомовцам. Из детдомовцев самый трудный Сашка Корнилов. Он воюет с учителями. Отказывается выполнять их требования. Иногда изгоняется из класса, иногда присутствует, но сидит в шкафу и мяукает. Когда я ругаю его за эти дела, он молча слушает, обязательно улыбается, извиняется. А на другой день творит то же самое.

Сашка, может быть, самый интересный и разносторонний мальчишка в детдоме. Эмоционален, вспыльчив, приблатнен. Искренен, романтичен, начитан, раним. Свой индивидуальный юмор. Безусловный лидер. Сохранил свои детдомовские привычки уличной шпаны. Еще в Ленинграде выиграл у Кольки Леонтьева по прозвищу «Плаха» в карты «на раба». Однажды я заметила эту рабскую зависимость «Плахи» от Сашки. Сашка мог разбудить его ночью и приказать принести себе воды или залезть под кровать и мяукать. «Плаха» беспрекословно выполнял все требования. Я решительно вмешалась. Очень серьезно поговорила с Сашкой, и он меня понял. Унижение, рабство Коли Леонтьева закончилось.

Властную и сильную натуру Сашки нужно было ввести в

какое-то организованное русло. Посовещавшись с Ревеккой Лазаревной и Советом детдома, мы предложили Сашке стать комиссаром детдома. В данном случае мы действовали точно по Макаренко, и на этот раз его метод дал положительный результат.

Надо сказать, что в методике воспитания трудных детей Макаренко для нас — единственный и абсолютный авторитет. Его «Педагогическая поэма» — наш учебник, и цитаты из нее постоянно звучат, жизненные ситуации его воспитанников сравниваются с нашими, выводы делаются с учетом его опыта, решения принимаются по Макаренко, система трудового воспитания строится также по Макаренко. Наверняка мы совершаем множество ошибок в сложных и порой непредсказуемых ситуациях с детьми, но общая доминанта отношений между взрослыми и детьми правильна — дети видят самоотверженную работу воспитателей, ставку на справедливость, искреннюю заботу о них и, невзирая на мелкие обиды и естественные в большом общежитии конфликты, относятся к взрослым с уважением и пониманием. Процесс сложный. Шаг за шагом мы учим детей правилам жизни в коллективе и сами учимся у них.

В коллективе воспитателей особое место занимает Роза Михайловна Молотникова — опытный педагог, логопед, имеющий двадцатилетний стаж работы с глухонемыми детьми. Она, конечно, бесценный кадр для детдома. Всегда спокойная, разумная и тактичная, Роза Михайловна пользуется всеобщим уважением. Потеряв мужа в ленинградском ополчении, она вывезла с детдомом троих детей: двенадцатилетнюю Валю, пятилетнюю Инну и грудного Витьку, которого не спускала с рук от Ленинграда до Угор. Валя, на равных со взрослыми участвовавшая во всех погрузках по пути, самоотверженно помогала матери в возне с малышом и других заботах. Официально числясь воспитательницей моего отряда, Валя живет дома, подменяя Розу Михайловну, когда та уходит на работу. При этом Валя отлично учится, прекрасно читает стихи и танцует. Всегда вежлива, доброжелательна и сдержана.

Валя Козловская

В Мантурове нас ожидал большой конный обоз и один грузовик, в который посадили весь мамин отряд и меня с грудным Витькой на руках. В Угорах нас разместили в клубе рядом со столовой. Там мамин отряд и прижился.

Ольга Александровна уважала маму за профессионализм, но

иногда ее заносило, и она при ребятах грубо кричала на маму и других воспитателей, подрывая их авторитет.

Во время полевых работ на детдомовском огороде, я была одной из шести лошадей, впряженных в оглобли. Пахал на нас Сашка Корнилов.

Помню строительство овощехранилища. Мы, девчонки, рыли яму под руководством Кронида Васильевича, а мальчишки мастерили сруб.

Осенью мы сами солили на зиму капусту. Веселая была работа! В столовой лежала груда бело-зеленых кочанов. Мы их шинковали, укладывали в чистые бочки и плотно уминали, пересыпая солью. А кочерыжки были нам наградой. За постройку овощехранилища девочкам сшили синие диагоналевые юбки, а мальчикам брюки.

Курс за шестой класс я сдавала экстерном и сразу перешагнула из пятого класса в седьмой. Потом нас, старших ребят, перевели в Шулевскую школу-десятилетку. Мы там и жили в Шулево, каждую субботу возвращались в детдом на лыжах.

Зимой 42/43 года в Горьком проводилась олимпиада школьников области. Нас туда пригласили. Девочки там танцевали, а я читала стихи Симонова «Был у майора Деева товарищ майор Петров». За чтение я получила ценный подарок — кусок душистого мыла.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

В начале декабря 1942 года пришло известие: наших ребят берут в ремесленные училища. Все всполошились. Начались догадки, предположения, сомнения. Одни хотели ехать; другие боясь неизвестности, предпочли бы остаться; третьи приняли это известие, как удар, плакали.

Вечером меня вызвала к себе Ревекка Лазаревна, и мы с ней решали, кого мы будем отправлять к ней в первую очередь. Выбор пал на самых старших — Панфиленка, Каштелян, Леонтьева, Кузькина и Зернову. Они должны были стать первыми ласточками, улетающими из нашего детдомовского гнезда к новой жизни, чтобы получить профессию и органично войти в мир взрослых.

Ночью они уехали в Мантурово, чтобы пройти медицинскую комиссию, а потом через несколько дней ненадолго вернуться. Мы собирались устроить им проводы. Однако следующей ночью я была разбужена громкими голосами вернувшихся ребят. Они рассказали, что комиссию прошли, но об их ночевке в Мантурово никто не позаботился и, не спавши сутки, они вернулись в родные Угоры.

Когда они уезжали, я дала им на дорогу одеяла, чтобы декабрьской ночью они не замерзли на телегах. Перед тем, как завалиться спать, Панфиленок доверительно сообщил мне, что дорога была в ухабах, телегу бросало из стороны в сторону, и его одеяло, когда он заснул, где-то выпало.

— И мой хлеб, на котором спал Вовка, тоже выпал, — добавил Кузькин.

— Володя, — сказала я ему, — одеяло не могло выпасть вместе с хлебом. Скажи сразу — сменял?

Ехавшие с ним ребята подтвердили мою догадку — он действительно сменял казенное одеяло на вареную картошку, уместившуюся в карман. Приказ директора был краток: утром не давать завтрака, отправить туда, где находится одеяло, и вернуть его детскому дому. Панфиленок идти отказался, потому что у него не было валенок, а место преступления находилось в двадцати восьми километрах от Угор. Мне самой казалось немыслимым отправить его без валенок в мороз. Завтрака он утром не получил. И сидел, жалкий и голодный, отдельно от своих товарищей.

Я послала его к директору, но Ольга Александровна была непоколебима. Наступило время обеда. Панфиленок явился в столовую с тайной надеждой, что его простят. Однако и в обед картина не изменилась. Он сидел, с глазами, полными слез, смотрел на обедающих товарищей. Я увидела, что Витька Шерстюк незаметно сует ему хлеб. Решив любой ценой накормить Володю, я взяла свою порцию супа, подошла к Игорю Каверкину и сказала:

— Я выйду, а ты как бы от себя передай ему суп.

Так и сделали.

Отправив свой отряд в школу, я, договорившись с поварихой Лидой и, обязав ее хранить тайну, привела Панфиленка к ней. Лида накормила его, как она выразилась, «досеру». Все было сделано так, что казалось, никто из начальства не узнает. Каково же было мое удивление, когда через пару часов ребята из другого отряда рассказали мне всю историю со злополучным супом. Но мое удивление достигло кульминации, когда я узнала, что обо всем этом рассказал сам Панфиленок, хвастаясь: «Вот какой у нас воспитатель в отряде!» Я ожидала бури.

Она и разразилась. Но это был не обычный ураган, а вполне терпимый ливень… Я стояла молча, пока Ольга Александровна обрушивала на меня град обвинений в подрыве авторитета, дисциплины, в пособничестве воровству. Прозвучала и угроза снять меня с воспитательской должности. В свое время эта угроза была осуществлена.

Когда она ушла, я вздохнула облегченно, однако нужно было что-то решать с проклятым одеялом, которое висело надо мной Дамокловым мечом. Наконец решение пришло — Панфиленка накормить обедом и немедленно отправить в Мантурово, в ремесленное. Он дал слово в последний день ничего не «тяпнуть» и не сменять. Мне осталось сделать вид, что я поверила.

На другой день стало известно, что из моего отряда уедут пятнадцать человек. Эти ребята стали сразу особенно дорогими — все-таки многое было пережито вместе. Они были до предела возбуждены предстоящим отъездом. Все видели в нем смену впечатлений, обстановки, какую-то надежду на новую жизнь. Предотъездные настроения оказались более заразительными, чем можно было поначалу предположить.

Утром, сидя у печки, Игорь Каверкин вдруг заявил, что тоже поедет в ремесленное. Внутренне я не одобрила его решение. Для этого мальчика, способного и энергичного, хотелось большего, тем более, что он мечтал о морской школе. И мне верилось, что он может стать настоящим моряком, капитаном или штурманом. Я ему высказала все это, однако он не послушался и умчался к Ольге Александровне за разрешением. Я была рада, когда узнала о провале этого плана.

Наступила предпоследняя ночь, которую мои воспитанники проводили под крышей нашего «сельсовета». Я пришла поздно. Ребята меня ждали. Мы долго говорили о жизни, о будущем. Мне удалось, как мне показалось, создать атмосферу взаимного тепла и доверия.

— Вы самый дорогой мне человек! — сказал Витя Элинбаум на прощание. А Панфиленок от души предложил украсть для меня что-нибудь, что я только захочу.

Наше прощание закончилось, и я легла, пытаясь заснуть после бурного и напряженного дня. Однако из-за двери до меня донеслись обрывки разговора, которые заставили сначала насторожиться, а потом и сон как рукой сняло.

— Есть горох! — голос Элинбаума.

— Отвечаешь американкой?

— Зуб даю!

— Давай, Витька, говори, — голос Панфиленка.

— Ну так вот! Задумал я пустить на бой бабкину хавиру. Прикурочим горох, зашибем огурцы и дрюпу, закалечим бруснику и да погибнут на плахе четыре ее курочки! А потом сквозанем!

Смысл сказанного дальше я не могла уловить целиком, потому что разговор перешел на шепот, но отрывочные слова: «Взломаем!», «через чердак можно», «тяпнуть бабку топорищем» окончательно лишили меня сна. Надо было что-то предпринимать.

Однако на другой день вопрос разрешился сам собой. Ребята, узнав, что каждому дадут в дорогу по шесть килограммов хлеба, по три кило картошки, по одному огурцу, по десять пшенников, а также масло и сахар, обрадовались и полностью успокоились.

Я, получив на отряд ужин, отправилась в «сельсовет», где мы должны были провести последние предотъездные часы. Ужин прошел довольно мрачно. Ребята были настроены тоскливо — все ощущали реальность отъезда. Плакали Боря, Шурик, Женя, громко всхлипывала Люся Зернова. Только сейчас стало понятно, как сблизила всех общая жизнь и как в ней прежде чужие стали родными. Пытались петь песни, но ничего не получалось. Как назло, вспоминались только «Прощания», «Расставания» и «Страдания»…

Потом ребята начали дарить мне на память то, что у них было, и с этого момента атмосфера переменилась, стала теплой и откровенной. Дарили все. Люся Зернова подарила самое дорогое, что она собиралась увезти с собой в ремесленное — куклу и какие-то бусинки. Витя Шерстюк подарил мне фотографию своей мамы и добытый у какого-то дошколенка карманчик с вышитой собачкой. Витя Элинбаум подарил свою фотографию и книгу «Тихий Дон». Стасик Кузькин выложил на стол собственноручно вырезанный из дерева кинжальчик, Павлик Михайлов — маленький карандашик с привязанным пером. Коля Иванов торжественно преподнес мне две картофелины из своего путевого запаса. Коля Леонтьев долго шарил по карманам, последовательно извлекая из них дряхлый бумажник столетней давности, облигацию и, наконец, маленькую финочку в футляре.

Больше всех насмешил Панфиленок: кроме фотографии, на которой ему шесть месяцев, он вручил мне напильник для «кекалки». Этот напильник тут же был опознан возмущенным Стасиком: только что он лежал в его кармане. Сейчас же он красовался передо мной на столе в пестрой груде подарков, и груда эта была священна: в нее могли попадать любые вещи, но из нее не исчезало ничего… У Бори Балакирева ничего не было, и он подарил мне фотокарточки своего зятя, летчика. Потом ребята стали выкладывать на стол свои пшенники. Я собрала все съестное на столе, разделила поровну на всех, и мы славно закусили! Правильно ли это было с точки зрения педагогики, что сказали бы по этому поводу Песталоцци и Ушинский, не знаю. Знаю только, что было шумно, тесно, дымно («ремесленники» открыто дымили цыгарками) и очень тепло…

Вот и подошло время отъезда. Несколько саней с запряженными в них лошадьми стояли у крыльца «сельсовета». Ребята по одному выходили во двор. Мне стало тяжело, и я не вышла к воротам. Как-то не смогла. Буду писать им письма. Лева

говорил, что прощаясь с Угорами ребята удалялись с песнями.

Ребята ушли в новую жизнь. Очень хотелось, чтобы она была к ним ласковой.

25 декабря. Непривычная тишина. От пустой комнаты веяло холодком. Чего-то явно не хватало… Не хватало заразительного Борькиного смеха, не хватало добродушного, всегда улыбающегося Юрки, не хватало непредсказуемых выкриков Виктора… Сколько тревог и неприятностей доставляли эти ребята, особенно мальчишки, от которых каждый день можно было ожидать любых подвохов. Но они были слитны с коллективом и, уехав оставили в нем брешь.

Эсфирь Давидовна Рабинович

Когда началась война, я училась на первом курсе университета. Через некоторое время мы с сестрой и отцом эвакуировались в Киров. В январе 43 года, я, предварительно списавшись с Ольгой Александровной, приехала работать в детдом.

Приехала я с фанерным чемоданом, кое-как одетая, на ногах бахилы, перевязанные веревочками.

Встретили меня хорошо. Мне сразу понравился порядок в детском доме, налаженность жизни в нем произвела хорошее впечатление. Начала знакомиться с сотрудниками, обратила внимание на то, что многие воспитатели жили семьями — Роговы, Разумовские, Галченковы и Козловские. Старшее поколение воспитателей видело в нас, молодых, потерянных детей. Я сразу с головой окунулась в жизнь теплого, дружелюбно настроенного коллектива, попала под опеку родителей-воспитателей, ощутила на себе их дружескую заботу, проявлявшуюся зачастую в неожиданных трогательных мелочах. Шла я как-то вечером на работу и встретила Татьяну Максимовну. Она сунула мне в руку небольшой пакетик, по дороге я развернула его — там был кусок кекса.

Мне было тогда 19 лет, а моим воспитанникам по 12–13. Работа с детьми пришлась мне по душе и доставляла радость. Дети всегда интуитивно чувствуют, нужны они или нет, и тянутся к искреннему чувству. Я искала свои подходы к детям с самого начала, сразу поняла, что с ними надо держать определенную дистанцию, чтобы я могла задать им любой вопрос, а они мне — нет. Кроме того я поняла, что дети никогда не протестуют против справедливых требований.

Я выработала свой комплекс наказаний. Вечерами, во время

своих дежурств, я обычно подходила к каждому ребенку, садилась на кровать, беседовала, укрывала его и желала спокойной ночи. Если же я сердилась, к кровати не подходила. Это было наказание номер один. Наказание номер два — перестать общаться. Ребенок это чувствует немедленно.

Однажды Нина Иванова, девочка с норовом, в тихий час не явилась в спальню. В окно первого этажа было видно, что она катается на лошади. Когда она вернулась, я перестала с ней разговаривать. Началось немое соревнование на объяснение. Нина не подходила ко мне три дня. Потом она объяснила, что просто не могла решиться подойти. Я сказала:

— Найди слова, и объяснишься.

Лишение еды и прогулки как метод наказания я не признавала. Еще одно правило — к каждому ребенку индивидуальный подход. Римма Григорьева — замкнутая девочка. Часто у нее слезы на глазах. Замечаний при всех я ей не делала. Разговор наедине давал результат. Несколько девочек имели братьев, сестер в отряде дошколят. Я всегда приветствовала их встречи и дружбу. Подростковый возраст — трудный. Много хлопот доставляли Геня Мориц и Коля Иванов. Чтение девочек приходилось направлять. Они начали увлекаться Мопассаном и Бальзаком. Свою функцию я видела в том, чтобы острые вопросы обсуждались только наедине со мной. Надо было потихоньку вводить их во взрослый мир. Нина Иванова по вечерам в кровати читала «Тридцатилетнюю женщину» Бальзака.

— До этой книги ты пока не доросла! Тебе сейчас не понять то, что ты легко поймешь позже!

Передо мной встала проблема: чем же заменить? Чем увлечь? Предложила «Неточку Незванову». Успех был полный. Дети были взволнованы, когда я им читала, многие плакали. Высокая литература плюс ассоциации (бедная девочка жила в каморке) сделали свое дело.

Так рождалась наша общность.

Октябрь 43 года. Мне 20 лет. Дети знали мой день рождения, им хотелось семейного праздника. За полторы недели до него они перестали есть конфеты и собрали для меня целую коробку. За четыре дня до празднования коробка исчезла. Виноватого не нашли. И тогда они перестали брать конфеты и утром, и вечером и ко дню рождения собрали новую коробку. Праздник устроили в пионерской комнате. Столы накрыли чистыми скатертями. На столах были огурцы, помидоры, грибы. Передо мной поставили тарелку с жареной рыбой — мальчики наловили ее с утра. За столом уже сидели Ревекка Лазаревна и Ольга Александровна, но пиршество не начиналось. Все чего-то ждали Потом дверь

отворилась, и в комнату торжественно вплыла повариха тетя Шура, держа в руках глубокую тарелку. Она поклонилась мне и сказала:

— Эсфирь Давидовна! Это вам!

Лица детей сияли. Я взяла горячую тарелку, в ней была моя любимая пшенная каша, сваренная на молоке! Я предложила разделить ее, но дети отказались. Напоследок ребята порадовали меня большой очищенной брюквой, на которой морковкой была выложена римская цифра XX, а также рисунком с изображением курицы и цыплят, несущих плакат «3 отряд».

Летом мы всем отрядом ходили в лес за ягодами. Когда каждый сдал свою норму, набралось два лукошка черники. Мы поставили их под дерево, а сами разбрелись по лесу, чтобы поесть ягод. Пришло время идти домой, а мы не нашли лукошек… Тогда каждый собрал в свою чашечку, сколько смог. Пришли домой поздно, намного позже ужина. В столовой было темно. Дежурный сказал:

— Время ужина закончилось, и теперь надо получить разрешение у директора.

Я попросила:

— Накормите детей, пока я схожу за разрешением.

Ребят начали кормить, а я направилась к Ольге Александровне в ожидании нахлобучки. Она не заставила себя долго ждать. Уже с порога меня начали строго отчитывать. Я рассказала всю нашу историю, а потом сказала:

— Дети ни в чем не виноваты, наказывайте меня.

Она подумала и сдалась:

— Пусть ужинают.

— Спасибо! Они уже поужинали.

На одной из пионерских линеек командир четвертого отряда Вова Николаев во время рапорта директору доложил, что весь отряд выполнил норму сдачи ягод, кроме одного человека — Нонны Саренок.

— Нонна Саренок! — загремела Ольга Александровна. — Два шага вперед!

Нонна вышла из строя, опустив глаза.

— Почему не сдала норму? Отвечай перед дружиной!

— Ну мама, — заныла Нонна.

— Не мама, а Ольга Александровна! Изволь завтра же сдать две нормы! Командиру отряда и мне доложить!

Однажды в детдом пришло письмо из Мантуровского РОНО. Ленинградка Гаятулина запрашивала, нет ли у нас в детдоме мальчика пяти лет, черноволосого, черноглазого, с родимыми пятнышками на мизинцах обеих рук.

В списках детдомовцев такой фамилии не было. Однако учитывая, что дошкольники часто путали свои фамилии или называли их приближенно, Ольга Александровна собрала всех воспитателей дошколят и приказала немедленно начать поиск. Был уже поздний вечер, малыши все спали, поиск проходил при керосиновых лампах, но письмо так взволновало всех, что решили не откладывать до утра и начали осматривать всех черноволосых и черноглазых. И уже на третьем подозреваемом нашли желанные родимые пятна! Восторгу и радости не было конца!

Через некоторое время приехала мать, узнала сына и забрала его с собой.

Другой случай. Весной 44-го в детдом приехал офицер, отец Риты и Вали Климук. Встретили его с большим интересом: человек с фронта — событие в детском доме! Потом он уехал, обещав вернуться и забрать девочек.

Через год пришло письмо, что он едет за дочерьми после тяжелого ранения.

За ним послали подводу в Мантурово и встретили как героя. Все его лицо было в шрамах. Дети вели себя, как взрослые — сочувственно, чутко и понимающе.

Нина Иванова

Как-то я в очередной раз набедокурила, и Эсфирь Давидовна сказала в сердцах:

— Таких девочек, как ты, надо отчислять из детдома и посылать работать на фанерный завод в Мантурово.

Я очень обиделась. Вечером сняла одеяло с койки и пошла ночевать на кладбище. Там улеглась в крапиве и промучилась до утра, сильно промерзнув. Вернулась в церковь, улеглась тихонько в койку, укрылась с головой. Только согрелась — надо мной голос Эсфири:

— Ах вот ты где! А мы с Кронидом Васильевичем всю ночь тебя с фонарями искали!

После этого она со мной месяц не разговаривала, а когда наш отряд стал собираться в поход на встречу с кировским детдомом, сказала мне:

— За то, что ты тогда удрала из детдома и ночевала на кладбище, останешься дома. Я ничего ей не ответила, а про себя решила: ни за что я не останусь! Пойду с ними тоже.

Когда отряд построился и вышел, я немного подождала, а потом пошла за ними по дороге, держась от них метров за тридцать. Ребята меня заметили, стали оборачиваться, наверное,

Эсфири сказали. Она тоже обернулась, подала мне знак, чтобы я вернулась. Но я не послушалась, продолжала идти, сохраняя дистанцию. Так мы и шли довольно долго — они впереди, а я сзади вместе с нашей собакой. Мне так обидно было, я иду и Индусу говорю: «Ты один здесь человек, меня понимаешь, а они все сволочи…» Индус хвостом помахал, все понял.

Я иду, а сама думаю: «Никуда вы от меня не денетесь. Пирамиду физкультурную будете делать, как же без меня, я же ее всегда завершаю». (Я всегда была маленькая и легкая, и меня на верх пирамиды ставили)… Так оно и получилось. Километров через пять Эсфирь остановила отряд и мне рукой уже по-другому махнула. И я тогда бегом как припустила! Догнала их. Все ребята мне обрадовались, и дальше мы пошли уже все вместе.

Валя Тихомирова

Про Эсфирь Давидовну скажу, что у нее была своя педагогика, свой подход. Она, когда вечером нас укладывала, к каждому подходила, говорила теплое слово. Провинившегося же сознательно обходила стороной. У нас даже был по этому поводу свой конспиративный язык. Если она еще была в церкви, а мы уже лежали, мы переговаривались:

— К тебе «Пэ» (значит подходила) или «Нэ» (не подходила)?

А хлопот мы доставляли воспитателям немало. Вот и я раз выкинула номер. Мы репетировали постановку «Белеет парус одинокий…». Я была Гавриком. Многие тогда болели гриппом. Я еще вечером на репетиции почувствовала себя нехорошо, а утром голова болела. А Роза Михайловна, которая поднимала отряд, не поверила мне и послала в школу. Я обиделась и зимой пошла в школу в одном платье и без чулок. Учительница отправила меня обратно в детдом, и я в таком же виде пошла обратно. На полдороги встретила бегущую навстречу Эсфирь. Она увидела меня и пришла в ужас:

— Боже мой! Ты без пальто и чулок! Ты бы еще босиком пошла!

Я сказала:

— Могу!

Демонстративно сбросила с ног галоши и по колено залезла в сугроб. И тогда она вдруг заплакала, и мне ее жалко стало. Я надела галоши и пошла с ней в детдом. Там, конечно, слегла и проболела около месяца. И она от меня не отходила. Зато когда я встала, она меня месяц не замечала. Потом, много позже, подошла ко мне и рассказала такую сказку. Будто бы мы всем

отрядом набрели в лесу на пересечение разных дорожек. Отряд с ней во главе выбирает светлую дорожку, а я пошла в другую сторону по темной, каменистой. Она будто бы пыталась меня уговорить, но я упрямо уходила все дальше. А когда отряд уже ушел, мне стало страшно, я повернула и догнала своих. Все обрадовались, а Эсфирь меня обняла и поцеловала. И тех пор мы шли по одной дорожке.

Эту сказку я хорошо запомнила.

Из дневника Натальи Николаевны Попченко

20 ноября 1942 года. Мне и Розе Михайловне достался первый отряд — первоклашки. Много хороших разумных ребят. Стараюсь быть для них полезной; мы много гуляем, играем, я читаю им вслух Гулливера и объясняю непонятное. Слушают внимательно.

1 декабря во втором отряде был сбор. Отмечали день памяти Кирова. Я привела своих ребят. Ита Ноевна сделала хороший доклад. Во время выступления Цапалина и Бори Богача мои ребятишки понемногу задремали, а Валюшка Зуева даже расплакалась — «спать хочу».

Мое жилье за километр от церкви. Хозяйка — старуха. Поэтому заготовка дров на мне. С утра напилила дров, натаскала воды и побежала в церковь. Накормила детей, потом мыла их в бане, сделала лыжи Фоле Галкину, написала письмо Ире Гусевой для ее родных.

12 декабря было комсомольское собрание. Поставили три цели: 1. Количественный рост комсомольской организации. 2. Реорганизация ядра. 3. Культурное слово — деревне.

Днем играли в снежки, лепили бабу, учились кататься на лыжах. Вечером педсовет. Наметили прекрасную программу подготовки к Новому Году и с середины декабря начали делать игрушки. Наш отряд репетирует, разучивает песенки поросят и поварят для новогоднего праздника. Воспитатели и дети клеят игрушки из цветной бумаги.

Вечером состоялось совещание о сборе средств среди работников детдома, а также среди колхозников на Чкаловскую эскадрилью. Наши подписались все. Я на 100 рублей при моей ставке 185. А с крестьянами намного труднее: народ здесь тугой и бедный. Походили немного, получили пустяк. А ведь есть такие колхозники, которые дают по сто тысяч! Например Ферапонт Головатый. На его деньги построили самолет.

30 декабря школа подарила нам целый ящик замечательных игрушек. Завтра будем украшать елку, а вечером разложим под нее

подарки детям.

1 января 1943 года. Новогодний вечер. В столовой украшенная елка. На столах праздничное угощение. После доклада Розы Михайловны начался карнавал — все нарядились, кто как мог. Ольга Александровна была изумительно хороша в наряде светской дамы. Ревекка Лазаревна — в костюме тореадора. Ксения и Мирра нарядились цыганками. Ксения всем гадала, а Мирра каждому прочитала стихи на тему «Будьте здоровы, живите богато!». Вера с Итой Ноевной преобразились в японок и рассказывали байки из японской жизни. Мария Степановна была Алеко. Люся Рогова в черно-желтом шелковом платье танцевала с Евгенией Борисовной, которая была в черной паре и цилиндре.

Я оделась крестьянкой, Антонина Лаврентьевна — украинкой. А центром оказалась Вера Галченкова, изображавшая дошколенка в короткой юбочке и передничке. Веселье было общим.

Приглашенные местные председатель колхоза и председатель сельсовета, хорошо выпив, тоже пустились плясать и петь. Разошлись все в пятом часу.

2 января. Сегодня детский праздник. Ребята выступали по сценарию, написанному Миррой. Ведущий — Маг (Лева) в высоком колпаке со звездами и в восточном халате — представлял участников. Дед Мороз (Саша Николаев) отчитывался перед маленьким Новым Годиком, которого играл Толя Макаров. Ему много хлопали — уж больно он был хорош в своей красной шапке и шубке, отороченной белой ватой.

Замечательно сыграла черта Эля Закревская. Было много смеха и шума. Она вообще талантливая девочка — мастер на все руки. Сделала всем маски и проявила настоящий актерский талант. Бабу-Ягу играла Оля Воскобойникова, тоже способная девочка, художница, много и удачно работавшая над украшениями елки. Валя Козловская с блеском исполнила танец пирата, сопровождаемый песней «Море, принимай обломки, мертвых похоронит мрак…». Праздник закончился целой серией коротких стихов-загадок, которые задавал Маг, и общим танцем-хороводом вокруг елки.

Через несколько дней состоялась читка пьесы «Раскинулось море широко». Распределили роли. Режиссером Ольга Александровна назначила Розу Михайловну.

18 января 1943 года.

Вечером мы разбирали роли и читали пьесу. Вдруг ворвались Вера и две Люси с криком: «Ура! БЛОКАДА ПРОРВАНА! Ура!!!».

Тут началось неописуемое. Мы побросали роли, заликовали. Проснулись дети и тоже зашумели. Блокада прорвана! Ура! Как обидно, что в такой момент мы здесь, а не там!

Наша комсомольская ячейка пополнилась. Вчера на собрании мы приняли в комсомол Женю Ватинцева, Элю Закревскую и Леву. А Олега сняли с должности начальника штаба дружины с формулировкой «как не справившегося с делом и оторвавшегося от масс».

Состоялась первая репетиция. Роза Михайловна не сумела стать хорошим режиссером, поэтому Ольга Александровна сначала внесла ряд полезных советов, потом взяла режиссуру на себя. Она — скопище противоположностей!

Пришло письмо от моего брата Сергея. Он ушел на фронт добровольцем, водителем машины. Пишет, что отмечен благодарностью заместителя командующего фронтом и рукопожатием самого Ворошилова! Еще пишет, что убил немца. Как это ужасно, что человек должен убивать человека!

У Люси Чидиной в Ленинграде во время обстрела погиб отец. Теперь она осталась одна.

Дома страшный холод, а Кронид Васильевич дров не везет.

Лев Разумовский

Зимой 42/43 перед детдомом встала серьезная проблема: для того чтобы отопить церковь и принадлежащие детдому два отрядных дома, столовую, баню и мед-изолятор, нужно было огромное количество дров.

Дрова — длинные и толстые двух-трехметровые бревна — доставил нам сельсовет. Огромная груда их темнела на снежной площадке рядом со столовой. Потом появились пильщики — местные колхозницы. Они смастерили козлы, на которые вчетвером взгромождали бревно, потом распиливали его на отдельные кряжи, потом кололи.

Работали эти женщины по восемь часов в день, до позднего вечера, и, закончив, получали из рук нашего завхоза Кронида Васильевича по буханке хлеба.

Той же зимой детдом получил на всех лыжи, и начались наши ежедневные прогулки на лыжах и катания с гор. Лыжи доставляли много радости ребятам. Зима побелила поля, крыши изб, два купола на церкви, бескрайние поля вокруг и крутые берега Унжи, с которых мы, старшие, научились кататься не хуже деревенских, привыкших к этим маршрутам и спускам.

В эту же зиму мы организовали военную игру. Разделили отряды на «красных» и «синих». «Синие» выстроили вокруг риги снежную крепость и наготовили множество снежков для обороны, а «Красные» должны были наступать двумя группами лыжников и

взять крепость. Кто победил и кто проиграл в этом сражении, не помню, но битва была ожесточенной: все участники оказались храбрыми солдатами и покрыли себя неувядаемой славой. Подробности боя с большим азартом и горячими эмоциями долго обсуждались за ужином. В общем потехи было много.

Через пару дней мы обнаружили недостачу лыж в нашем отряде. Ребята сказали, что вечером около церкви шастали деревенские мальчишки, они-то, наверное, и унесли. Приказ Ольги Александровны был краток: «Лыжи вернуть!».

Я собрал отряд, и все вместе мы пошли по попавшим под подозрение избам в конце Угор и в Железцово. Войдя в дом, я объяснял, что у нас пропали казенные лыжи, подозреваем, мол, вашего Кольку, Ваську, Митьку и будем искать.

Пока я вел переговоры, мои ребята уже осматривали сарай, заглядывали в хлев, шарили по чердаку. При словах «казенные лыжи» хозяйки обычно пугались, не спорили с нами, а говорили: «Ишшите, коли так». Только в одной избе молодая и бойкая хозяйка на казенные слова ответила казенными же словами: «Вы не имеете права на обыск!», но тут же стушевалась, когда ребята с радостным криком «нашли!» внесли в избу первую пару лыж, вытащенную из под рогожи в сарае. Окрыленные успехом, мы пошли дальше и изъяли еще три пары лыж. Очень довольные своей победой, мы построились и с песней пошли по Угорам. У дома Ольги Александровны я скомандовал: «Отряд, стой!», побежал в дом и радостно доложил, что мы нашли и вернули четыре пары лыж.

— Сколько ты сказал?

— Четыре пары. А что?

Ольга Александровна смотрела мне в глаза, не отрываясь, и это не предвещало ничего хорошего.

— У нас, — сказала она, отчеканивая каждое слово, — пропали две пары лыж! Ты что же наделал?

Охо-хо! Оказывается, мы в своем полицейском рвении слегка перехватили. Стыдуха-то какая!

Пришлось мне возвращаться, искать обиженных, отдавать лыжи и извиняться.

Завен Аршакуни.

Когда мы приехали в Мантурово, некоторых ребят взяли к себе мантуровские семьи. Помню первый выход за горохом для детдома. Горох складывали в мешки, а больше себе за пазуху.

У нас в церкви жила белочка, почти ручная. Ребята ее

кормили, чем могли.

Я любил ходить к Татьяне Максимовне. Она всегда давала мне что-нибудь вкусное: то морковку, то пряженник. А один раз, когда у нее ничего не оказалось, дала мне луковицу. Я возвращался в церковь по весеннему снегу, грыз луковицу и закусывал сосулькой. Зимой очень красиво смотрелась на снегу наша розовая церковь. По талому снегу копыта лошадей оставляли глубокие круглые, как стаканы, рытвины. Однажды зимой я шел из школы, задумался и попал ногой в такой стакан. Упал и вдруг увидел над собой невесть откуда взявшиеся лошадиные ноги, застрял между лошадью и санями и в таком положении лошадь протащила меня, пока ее хозяйка меня не вытащила.

В детдоме у нас были тимуровские команды. Мы ходили по дворам вдов и жен фронтовиков и укладывали дрова в поленницы. А местные парни, напившись во время гулянок, их разваливали.

Запомнились мне в Угорах очень красивые красные зори. Особенно зимой.

Из дневника Натальи Николаевны Попченко

10 февраля 1943 года в годовщину смерти Пушкина Ита Ноевна сделала доклад, а ребята четвертого отряда проиллюстрировали его стихами. Второй отряд поставил сказку «О попе и работнике его балде», а третий — «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Было много смеха, когда королевич Елисей (Геня Мориц) вышел с огромными заплатами на штанах. Мои ребята выступили со сказкой «О золотой рыбке». Тамара Киуру играла деда, Валюшка Зуева — рыбку, а Надюша Огородова — старуху. На старуху пришлось все одежки надеть сразу, а потом по ходу сказки снимать по одной.

16 февраля. День насыщенный. На педсовете решили: День Красной Армии отмечать по отрядам, а годовщину детдома — на дружине. Я подобрала нужный материал, распределила среди ребят, а Роза Михайловна начала с ними репетировать. Она достала замечательную книгу Бориса Житкова «О вещах». Ребята ею зачитываются.

Ревекка Лазаревна объявила, что подготовленный нами спектакль «Раскинулось море широко» будем показывать четыре раза. Первый день для детдома, второй для школы, третий для местной молодежи и четвертый для колхозников. Вот денечки будут! Поэтому опять репетиция. А у нас масса мелочей не

отработана. Плохо с освещением и шумами. Ольга Александровна страшно требовательна к артистам, а сама не выучила своей роли. Меня назначила суфлером.

23 февраля состоялась первая постановка. Не обошлось без накладок. Некоторые артисты так толком и не выучили своих ролей, а Ита Ноевна в один из драматических моментов вообще забыла свою реплику и тем затормозила всю пьесу. Пришлось Ольге Александровне выскочить на сцену и грозно выкрикнуть:

— Ита Ноевна! Уж какие мы гости! — чем очень потешила изумленных зрителей.

На другой день у дошколят был свой парад и выступления. Особенное впечатление произвел Вовочка Пучков из самой младшей группы. Он прочитал без запинки большое стихотворение. Потом было угощение для работников детдома — картофель с котлетой и кофе с пирогом, а затем Мирра читала написанную ею историю детского дома. За лучшие выступления наградили Толю Макарова — командира первого отряда, Надю Огородову, Иру Вериго, Лелю Елизарову и Риту Климук. Вечером снова играли пьесу перед местными школьниками и учителями. Опять накладка: когда мы, партизаны, схваченные немцами, сидели взаперти в сарае и ждали допроса, на сцену выбежала кошка. Ребята в зале сразу зашумели, засмеялись и стали кискать… Это было ужасно! Но местные учителя нас очень жалели, и кто-то даже прослезился, несмотря на кошку.

Конец февраля. Ураган, дождь, град. Крестьяне говорят: если в мясоед дождь — лето будет грибное и ягодное.

Сегодня всем раздавали американские подарки: платья, джемпера. Джемперов на всех не хватило — были слезы. Вокруг американских подарков вообще много шума и обид. Роза Михайловна считает, что распределяются они несправедливо. Дома холод. Кронид дрова обещал, но не везет. Пришлось взять один большой кряж и тащить его на себе при луне всю ночь. Иногда я, устав, катила его по земле ногами. Пришла домой вся мокрая.

В середине марта за Саней из Ярославской области приехал отец. Саня задал ему вопрос: «А ты мне родной?». Отец у Сани старенький, и лицо узкое, плутоватое… Может поэтому? За Хельмой Рока приехал брат из Молотова.

20 марта. Мои ребята — молодцы! Сами организовали на прогулке военную игру, как у старших. Командир, конечно, Толя — замечательный мальчуган. Он умен, храбр и добр. Заставляет себя слушать. Впитывает знания, как губка. С утра проверяла ребят на вшивость, а потом читала им «Пионерскую правду». Провела занятия ручного труда — учила их вышивать.

Наблюдая за ними уже несколько месяцев, пришла к выводу,

что прежние горластые драчуны стали спокойными и дружными. Вывод: воспитывать надо вовремя, чтобы из каждого получился человек.

Лев Разумовский

Весна 1943 г.

Впервые в жизни (как много мы, жители города, увидели впервые, попав в обычную российскую деревню, живущую натуральным хозяйством) мы залюбовались красивейшим зрелищем — светло-зеленым полем, покрытым ковром мелких голубых цветков. Порывы ветра колыхали всю эту голубизну и создавалось ощущение, что это большое светлое озеро с зыбью на его поверхности. Так цвел лен. К осени нежно-зеленые стебли стали бурыми, а голубые цветы превратились в крепкие коричневые звонкие шарики — плоды льна.

Вот тут-то мы впервые на собственном опыте столкнулись с понятием и истинной ценой трудодня. Детдому предложили помочь колхозу убрать лен. Нам выделили часть поля, две крестьянки подвели нас к шелестящему на ветру золотистому звонкому полю и спросили, умеем ли мы теребить лен.

— А чего тут уметь. — ответил кто-то. — Рви да собирай в пучки.

Колхозница тетя Дуся рассмеялась, потом сказала:

— Вот глянь-ка! Пойду-ка я по своей делянке.

И пошла в стоящий прямиком лен, ловко выкручивая сведенными накрест руками пучки льна, оставляя после себя пустую дорожку стерни. Через пару минут у нее в руках оказался пушистый толстый снопик, который она в мгновенье завязала последним тонким пучком льна.

— Ну как? Ясно, что ли?

— Да не очень…. Как это вы?..

Колхозницы посмеялись, а потом занялись с каждым отдельно. Сначала казалось, что этот прием очень неудобен, но они настаивали на своем, и постепенно, с большим трудом, мы начали осваивать их технику. Работали внаклонку. Неловкие руки не слушались, пучки получались неровные и рассыпались, солнце палило вовсю. Не прошло и двух часов, как мы выдохлись, устали, начали распрямлять и тереть затекшие спины.

Наши учительницы за то же время легко и как бы играючи сделали почти половину своей обширной делянки.

— Тетя Дуся, — спросил я, показывая на довольно длинную полосу стерни за моей спиной, — заработал я трудодень?

— Эх паря! На трудодень восемь соток надо сделать, а ты и двух не одолел, и уже не смогаешь…

Места вокруг Угор были красивые: леса, поля, переходящие в перелески, недалеко протекала Унжа — приток Волги. В радиусе пяти — десяти километров находились деревни Ступино, Поломы с самыми черничными и брусничными местами, Шулево, большое село с заводом и школой десятилеткой. Где-то подальше городок Макарьев, поселок Шарья, реки Межа и Нея. Частушка напоминала об этом:

Скоро в армию поеду
Через Неюшку реку,
Вот вам девушки на память
Елочка на бережку

Мужиков в деревне почти не было. Молодые ушли на войну. Оставшиеся, старики и инвалиды, плотничали, работали коноводами, пахарями на колхозных полях или уходили на заработки в соседние районы — «жгонили», т. е. валяли валенки, катали катанки и чесали чесанки. Изготовление валенок было традиционным ремеслом в нашем Мантуровском районе.

Молодежь — парни допризывного возраста и девушки всех возрастов — развлекались на гулянках. Гулянки обычно начинались вечерами, кончались к утру. Парни пили водку, горланили частушки и плясали с девчонками под гармошку. Чем многолюднее случалась гулянка, чем больше играло на ней гармоней, тем она считалась лучше, богаче: «Баская была гулянка — о пяти гармоник!». Гулянки часто заканчивались пьяными драками или буйным озорством. Завалить изгородь, разломать в ней тычины, раскидать поленницу, поставленную на зиму, было обычной забавой разгулявшихся парней. Зимой вместо гулянок традиционно проводились «беседки». В один из зимних вечеров Лизка, дочь Флегонтовны, заявила Мирре, что в следующую субботу «беседки» будут в нашей избе, что мы для этого должны потесниться и не мешать.

Пришлось нам сдвигать наши кровати и пожитки в угол, после чего Колька вбил два гвоздя в стенки, натянул веревку и повесил занавес, отгородив нас от помещения, где должны были проходить «беседки». Маму вся эта пертурбация сильно расстроила, а нам с Миррой было интересно, несмотря на то что нам пришлось несколько часов сидеть в неудобных позах на своих узлах, взгроможденных на кровати.

Лизка «примыла» пол ровно до занавески, подвесила к потолку лампу-молнию, вынесла с Колькой стол и кадки с

цветами, расставила по стенкам лавки, уселась с прялкой на одной из них и стала ждать гостей. Вскоре пришла первая ее подружка с прялкой, уселась на ступицу и на ней объехала все лавки, «чтобы беседки были хорошими». Потом начали приходить и рассаживаться по лавкам и другие девушки, каждая со своей прялкой. Парни ввалились вместе разноголосой гурьбой, и в избе стало сразу шумно и весело. Заиграла гармоника. На середину избы выскочил парень в куртушке (куртке) и кепке и пустился в пляс, дробно печатая пол кирзовыми сапогами, а напротив него вышла девушка, ожидая его частушки.

Парень:

Что ты, милка, зазнаешься,
Али харя широка?
Я видал такую харю
На базаре у быка.

Общий смех, в основном мужской.

Отплясав свое, он встал в позу, а девчонка, махнув платочком и приняв вызов, стала выбивать чечетку и петь:

Из Сибири ты приехал
И полпуда вшей привез,
Батька думал, что овес
И на мельницу увез.

Общий смех, преимущественно женский.

Парень:

Из тюремного окошка
Посмотрю на Ленинград.
Все там девочки гуляют,
Чем я, мальчик виноват?

Девушка:

Из тюремного окошка
Посмотрю на Вологду.
Принеси, залетка, хлеба,
Помираю с голоду.

На смену первому парню выскочил второй, ударил шапкой об пол и продолжил тюремно-географическую тему:

Из тюремного окошка
Посмотрю на город Буй,
Принеси, залетка, хлеба…
Покажу за это…

Допеть ему не дали дружно вскочившие девки, которые вытолкали хулигана на кухню и закрыли дверь. Это не помешало ему, однако, через пять минут вернуться и продолжить участие в общем веселье.

Один из ребят решил потешить девок по своему. Раздобыв где-то книгу по искусству, он раскрыл ее на странице с фотографией скульптуры Аполлона Бельведерского и стал обходить весь круг, тыкая пальцем в книгу и произнося каждый раз:

— Глянь! Голый парень! А?

Девки хихикали, отворачивались от такой срамотищи, отпихивали его руками, а он невозмутимо продолжал свой обход.

— Искусствовед, — покачала головой Мирра.

Между тем «беседки» вступили в новую фазу. Между плясом и песнями кто-нибудь из парней приглашал выбранную им девчонку в «барабу» и пара на некоторое время исчезала в темной кухне. Девчонка могла отказаться от «барабы», и это считалась позором для парня — его потом осмеивали чуть ли не до следующих гулянок или «беседок». Таков был обычай.

На все это мы с Миррой смотрели из занавески во все глаза, а она что-то быстро записывала в дневнике.

«Беседки» закончились поздней ночью и продолжались на улице, превратившись в гулянку. А мы, распрямив затекшие руки и ноги, стали перетаскивать кровати на свои места и приводить комнату в прежний вид.

Частушки с гулянок быстро перелетели в детдом, прилипли и четко запечатлелись в памяти на всю жизнь.

Мантуровская милиция
Хорошая была,
По нагану отобрала,
По кинжалику дала.

Из нагана дали выстрел,

По реке пошел туман.
Что ты голову повесил,
Наш веселый атаман?

Всю пшеницу за границу,
А картошку на вино,
А голодные колхознички
Пойдемте на кино.

Состряпай, маменька, селяночку
Последний раз у вас я ем.
Скоро в армию забреют,
Больше вам не надоем.

Посмотри, родная мать,
Как солнце закатается.
Не последний ли сынок
В армию сбирается?

Нина Иванова

…Мы слышали про деревенские «беседки», и мне очень хотелось посмотреть, что это такое. Я упросила одного деревенского парня, Аркашку-пекаря, взять меня с собой. Он был такой здоровый, крутой, лучше всех с гор на лыжах катался. Он сначала удивился:

— Куда тебе, малявка? Что ты там делать будешь?

Но я пристала к нему — своди да своди. Уговорила. Пошли мы с ним, а мне и интересно, и боязно очень. Ну, пришли, там пляс, частушки, а Аркашка поплясал немного — и с одной девчонкой в «барабу»… А я за ним — на меня там никто внимания не обращал. А в «барабе» Аркашка девку тискает, она визжит, чуть не плачет: «Отпусти!»

Ну я думаю: надо девчонку спасать, он ведь ей больно делает, вцепилась ему в брюки и оттаскиваю. Он разозлился, меня ногой как двинет, как собаку.

— Мотай отсюда!

А я опять в него вцепилась, опять тащу, девчонка орет, Аркашка матерится, а я не отпускаю…

Ну, тогда он девчонку бросил, меня за руку своей клешней схватил и из избы потащил. Злой, как черт. Быстро, чуть не бегом, меня до детдома дотащил, все за руку по дороге дергал со зла, а

там бросил и напоследок крикнул:

— Вот ты, малявка, плесень такая, всю «барабу» мне испортила! — и бегом назад, в Угоры…

Лев Разумовский

Два эпизода вокруг церкви, вроде бы не связанные между собой, однако по странному стечению фактов и по размышлению над ними, возможно, и взаимопереплетенные.

Церковь досталась нам в довольно приличном состоянии: крыша не текла, полы чистые, потолки и стены побелены, низ столбов и стен покрашен коричневой масляной краской. Как-то у меня возник вопрос: был ли на куполе крест? Старуха Мирониха, к которой меня отослали по причине того, что она хоть и старая, а все помнит, да и молится до сих пор, охотно рассказала:

— Крест-от был — как ему не быть? И ограда церковная металлическая была, и кладбище коло церкви было.

— А куда ж все девалось?

— Дак куда? Все порастаскали. Решетки еще в двадцатом посымали да куда-то увезли, столбы кирпичные народ на печи перетаскал. Кладбище тоже. Много баских камней было, куда-то все перетаскали, вон два-три еще валяются в лопухах.

— А крест?

— А крест, паря, никто сымать не хотел. Боялись, Бог накажет. А начальство с району велело сымать. Потом уж коммунист один с Поломы, Васька Крутцов, снял. За деньги.

— Как за деньги? — ахаю я.

— А так. Опосля пил на эти деньги кой-то срок. Я хвостить не стану…

Надо сказать, что я этой бабке не поверил. Не мог коммунист за деньги сделать такую работу, это не укладывалось в моей патриотически настроенной голове…

Прошел, может быть, месяц после этого разговоры. Однажды, сидя на могильном камне, я рисовал двух деревенских мальчишек. Один был в кепке, другой в зимней шапке, несмотря на летнее время. Они охотно позировали, и я сделал довольно живой набросок в маленьком альбомчике, который подарил мне Олег. Когда они ушли, я, собирая свои рисовальные принадлежности, машинально отогнул лопух… и замер.

Первые же слова, которые удалось прочитать на черном, когда-то полированном, а теперь разбитом и заросшим мхом граните, захватили, заколдовали, затянули в иной, волшебный мир, ничего общего не имеющий с бытовой суетой нашей

нынешней жизни.

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Часть надписи была утрачена, но и оставшиеся могучие, весомые, емкие слова поразили меня глубиной мысли, величием образов и масштабом понятий… Вечность. Судьба. Народы. Царства… И фатальная Неизбежность…

Только спустя сорок лет, я узнал, что у этих строк есть автор — Гаврила Романович Державин.

Наступила весна. К тому времени детдому принадлежало уже двадцать четыре гектара земли, наибольшая часть которой была отведена под посадку картофеля. Поле надо было вспахать, унавозить, посадить семенной картофель и приниматься за посадку других овощей.

К этому времени у нас были уже две лошади, на которых научились пахать Олег и Игорь. Сельсовет разрешил детдому выбрать из колхозного скотного двора столько навоза, сколько нужно для нашего огорода. Эта ответственная задача выпала на долю моего отряда.

Тогда почему-то ни у кого не возник простой вопрос: а как же сам колхоз остается без удобрений? Земля и так тощая — «травинка за травинкой бегает с дубинкой». Почему же колхоз так просто отдает детдому основу будущего урожая?

Ответ оказывается был тоже прост. Районное начальство понимало, что ленинградский детдом осенен вниманием областного начальства. Не дать навоз детдому — дело политическое. А с колхозниками церемониться никому и в голову не приходило. Тем более, что колхозное хозяйство было уже так развалено, что его парой подвод с навозом уже не спасешь.

Вооруженные носилками и лопатами, мы пришли на скотный двор. Бригадир встретил нас неприветливо, критически оглядел и сказал мне хмуро:

— Ты бы хоть штаны завернул, да и рубашку закатил, ведь весь в дерьме будешь.

Услышав в ответ, что я буду работать аккуратно, он сплюнул под ноги, выматерился и спросил:

— Зачем лопаты взял?

— Навоз копать.

Тяжело вздохнув, он взял в руки вилы.

— Вилы-то держал когда в руках?

— Не приходилось.

— Давай носилки сюда.

Девчонки быстро подставили носилки. Он открыл широкие дощатые двери. Оттуда сильно пахнуло, и девчонки попятились. Не обращая на них внимания, он легко вонзил вилы в коричневую массу, поддел большой пласт и ловко сбросил его на носилки. Второй, такой же заполнил носилки доверху, и я скомандовал девчонкам нести. Бригадир молча сунул мне вилы в руки и, не оборачиваясь, ушел. А я приступил к делу — храбро, с силой воткнул вилы в вонючую массу и… застрял в ней намертво. Спрессовавшийся под коровьими ногами толстый пласт соломы не отпускал вилы, как я не старался. Ребята с носилками наготове с интересом наблюдали за моими телодвижениями. Пришлось сбросить с себя ботинки, влезть босыми ногами в чавкающий навоз. Я перепачкал руки по локоть и ноги до колен, но и с вилами в конце концов справился и попытался снова поддеть пласт навоза так, как делал это бригадир: зубья вил должны были войти в массу под острым углом и пройти под тонким пластом почти параллельно земле. На этот раз мне удалось выполнить задачу, и, окрыленный успехом, я начал подавать на носилки ком за комом. Дело пошло, но не так быстро, как мне хотелось: вилы не каждый раз слушались меня, ребята простаивали, пока я барахтался с отработкой приема. Нужно было что-то предпринять.

К этому времени я уже не боялся запачкаться, так как был уже по уши в дерьме, как точно предсказал мудрый бригадир. Поэтому я отбросил вилы и начал выгребать навоз просто руками.

Открытый мной передовой метод оказался намного эффективнее. Я бойко наполнял носилки, ребята тоже приспособились быстро их переносить, и конвейер заработал.

Мы проработали с утра до обеда, после чего я послал ребят мыться, а сам пошел мыться домой: я был похож на черта, и явиться в таком виде в детдом было просто невозможно.

Мама, увидев меня, пришла в ужас и сразу организовала мытье в огороде. Я сбросил всю одежду и около часа отмывался серым мылом и колодезной водой.

После обеда мы вернулись на скотный двор. На этот раз я решил действовать только вилами и к концу дня наконец освоил прием. К вечеру мы вычистили весь хлев и ушли, довольные тем, что сделали полезное для детдома дело.

После смерти младшей сестры в апреле 42-го моя мама Зинаида Сергеевна Якульс пошла работать в детский дом. Я пришла в июле, когда детдом готовился к эвакуации. Помню, как мы с Никой сбрасывали тюки с бельем в лестничный пролет с четвертого этажа, а потом на этих же тюках ехали на Финляндский вокзал и пели песню «В далекий край товарищ улетает…».

Мы с мамой жили в бывшей помещичьей усадьбе вместе с Антониной Иосифовной, матерью Марии Вячеславовны Кропачевой, и Еленой Самойловной Бик. Елена Самойловна была пианисткой и на всех детских праздниках играла на фисгармонии. Огород на земле, выделенной нам колхозом, мы начали обрабатывать ранней весной 43-го года. Большой участок целины, спускающийся к реке, нужно было вспахать под капусту. Лошади были заняты пахотой большого поля под картошку, и мы решили пахать на себе, как делали это взрослые. Впряглись в оглобли по четыре человека в каждую и потянули плуг. Пахарем был Сашка Корнилов. Получалось плохо — при повороте мы сами же и затаптывали вспаханные борозды. Пришлось бросить эту затею и перепахать все поле уже на лошади.

Вспоминаю интересную историю, связанную с подготовкой к празднику песни. Наш отряд разучивал старинную русскую песню:

Вдоль по Волге реке снаряжен стружок,
Как на том стружке на снаряженном
Удальцов-гребцов сорок два сидят.
Как один-то из них добрый молодец
Призадумался-пригорюнился.
Ах, о чем же ты, добрый молодец,
Призадумался-пригорюнился?
Я задумался-пригорюнился
Об одной душе красной девице,
Эх, вы, братцы мои, вы, товарищи,
Сослужите мне службу верную:
Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утоплю я в ней грусть-тоску мою,
Лучше в море мне быть утопимому,
Чем на свете жить нелюбимому…

Мы увлеченно играли в лапту перед церковью. В этот момент

пришла Ревекка Лазаревна и сказала, что хочет проверить, как мы выучили песню. А мы хотели играть, а не петь. Однако она настояла на своем и заставила нас петь. Тогда Сашка Корнилов подмигнул нам и запел первый:

Плыви ты наша лодочка блатная, да, да,

а мы дружно подхватили:

Куда тебя теченьем понесет,
Воровская жисть такая, ха, ха,
От тюрьмы она далеко не уйдет!
Воровка не сделается прачкой, да, да,
Шпана не ударит урку в грудь!
Грязной тачкой рук не пачкай! Ха, ха!
Это дело перекурим как-нибудь!

Мы проорали всю песню. Наступила тишина.

Мы ждали реакции — разноса, наказания. Ольга Александровна, наверное, отреагировала бы сразу: взорвалась, наорала, может быть, надавала бы пощечин. Интеллигентнейшая Ревекка Лазаревна сидела молча, не шевелясь. Как статуя. Потом встала, выпрямилась и изрекла:

— Еще Горький говорил: «В каждом человеке есть что-то скотское».

Повернулась и ушла.

Еще эпизод. В столовой и на кухне всегда было много тараканов. В одно из дежурств на кухне, как сейчас помню, мы все были в синих платьях с малиновыми оборочками и в фартуках, пошитых неутомимой Марией Николаевной. Повариха куда-то на минуту отлучилась, а кто-то из дежурных открыл большой чан с кипящим супом, и тараканы посыпались в чан с потолка — их обдало паром. Что было делать? Мы сразу закрыли окно раздаточной, тараканов выловили шумовкой и никому ничего не сказали. Не выливать же суп!

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Февраль 43 года. Для того, чтобы жизнь в детдоме была интересней и краше, мы делали все, что могли, отмечая общеизвестные праздники: Новый год, Седьмое ноября, Первое мая, а так же придумывали свои: День спорта, День смеха, Праздник

урожая и т. д.

Кроме того, всегда праздновались коллективные дни рождения: мы объединяли несколько человек, родившихся в один и тот же день. А иногда, когда мне хотелось поздравить кого-нибудь из детей индивидуально, я дарила им свои стихи.

Лялелечке Якульс

Дорогая, от сердца тебе пожелаю
Быть здоровой всегда и тревоги не знать,
Распрощаться с чужим, надоевшим нам краем
И по улицам Города снова шагать.

Ты живешь в коллективе хорошем и дружном,
Среди славных товарищей, близких подруг.
Замечательна эта хорошая дружба,
И как ценно, когда рядом находится друг.

Через годы, быть может, мы встретимся снова,
(не в Угорах, надеюсь), а где-нибудь там —
На проспекте Большом Ленинграда родного,
Где опять будет место красивым мечтам.

В институт ты пойдешь по дороге широкой,
Чтобы после учебы стране помогать.
Иногда, на досуге о жизни далекой,
О былом будешь с мамой своей вспоминать.

Об Угорах, детдоме, дружине и песнях,
О дежурствах, о том, что ушло навсегда.
И поверь, словно радугой яркой, чудесной
Вновь окрасятся в мыслях былые года!

Лев Разумовский

Время в Угорах тянулось медленно, и я начал тяготиться своей работой. Реальной переменой представлялся осенний призыв в армию, и я ждал его с нетерпением. Особенно меня раздражала входившая в мои обязанности проверка домашних школьных заданий.

Как-то весной, в разгар огородных работ мне пришлось

проверять у отряда домашние задания. Ребята отвечали плохо, иногда невпопад. Меня это злило. Хотелось скорее закончить и взяться за лопату.

Последними отвечали три подруги: Валя Тихомирова, Тамара Сысоева и Аня Суслова. Девчонки были настроены весело, отвечали кое-как, с шутками и хихиканьем. Терпение мое к этому времени лопнуло, и я, выдав им всем по наряду, с облегчением пошел на огород.

Мое мальчишеское нетерпение стало причиной серьезной истории, которая могла бы закончиться настоящей трагедией.

Привожу полностью рассказ Вали Тихомировой и спустя 50 лет приношу девочкам-«нарушительницам» мое искреннее запоздалое покаяние.

Валя Тихомирова

Леве было поручено проверить наше домашнее школьное задание. Он проверил у всего отряда, остались мы: Тамара, Аня и я. Аня стала путаться с ответами, потом сказала, что лягушки дышат жабами. Мы захохотали. Леву это почему-то вывело из себя, и он сказал:

— Получи наряд!

Мы возмутились и сказали, что это несправедливо. Лева с ходу дал и нам по наряду и ушел на поле к ребятам копать гряды. А мы очень обиделись и решили убежать из детского дома.

Вокруг никого не было, и мы ушли незамеченными к Поломе. По дороге прутиком на песке написали: «Три мушкетера убежали».

Зашли в лес, стали есть песты и заблудились. Потеряв направление, вышли к какой-то риге. Там на риге и переночевали.

Рано утром проснулись, захотели есть и решили вернуться. Стали думать, как выйти, какую из множества тропинок выбрать, стали гадать: «Рыба-рыба, рыба кит, рыба правду говорит и по той тропинке идти велит». Рыба не обманула, вывела нас к детдому.

А там тревога, нас уже ищут. Явились мы перед светлые очи Ольги Александровны с повинной. Она сказала:

— Я поговорю с Валей, а вы, Ревекка Лазаревна, поговорите отдельно с Аней и Тамарой.

А мы по дороге домой договорились, что скажем, будто мы просто заблудились и потерялись.

Ольга Александровна говорит:

— Гляди мне в глаза и говори правду. Я по твоим глазам

вижу, что врешь!

Мне стало обидно, и я замкнулась.

Тут приходит Ревекка Лазаревна и говорит:

— Девочки признались, что Валя подговорила их на побег.

Ольга Александровна:

— Вот почему она молчит! Ну и пусть идет на все четыре стороны!

И толкнула меня к двери.

Вышла я. Сидят на улице мои девочки. Неужели они меня предали? Они говорят:

— Нам сказали, что ты нас выдала. А мы ничего не сказали. И нас тоже выгнали.

Тогда мы пошли к сельмагу, сели там на крылечке, прижались друг к другу, сидим, горюем.

А в это время гулянка! Одна шеренга — парни в обнимку частушки поют, а навстречу девушки, тоже в обнимку.

Парни:

Эх по нашим по Угорам
Шла интеллигенточка,
Рукава засучены,
Юбка по коленочко.

Девушки:

Моя милка заболела
Ничего не кушает.
Надо доктора позвать,
Пусть ее послушает.

Парни:

Как по нашим по Угорам
Ехала милиция.
Задирайте, девки, юбки,
Будет репетиция.

Парни нас заметили, окружили, стали приставать. Мы заплакали. И они отстали, отошли.

Я сказала:

— Чем так жить, лучше умереть. Найдемте колодец и

утопимся.

И мы решили покончить счеты с жизнью. Пошли дальше, увидели старый колодец.

— Кто будет прыгать первый?

— А кто придумал, тот и первый, — сказали девочки.

Я решилась прыгнуть, но с условием:

— Дайте честное мамино слово, что вы тоже прыгните.

— А мы на том свете увидим маму?

— Конечно!

И я прыгнула…

Оказалось, воды до пояса. Девочки подали мне руки, вытащили меня, мокрую. Мимо проходила деревенская женщина, спросила нас, что мы здесь делаем. Мы рассказали ей.

— Не дурите, идемте ко мне в избу. Я бедная, вас не накормлю, детей много, но хоть в тепле поспите, посохните.

Мы пришли и легли на полу, на ветоши, на лохмотьях, думали, заснем. Однако поспать не удалось. Нас заели клопы. Мы всю ночь от них отбивались.

Наутро хозяйка дала нам по корке хлеба и говорит:

— Идите в детдом, просите прощения.

Мы пошли, только не в детдом, а в школу, в класс. Там была местная девочка Валя Мухина, скупая, ела лепешки. Мы обступили ее, стали клянчить.

— Нету-ка.

А у нас уже животы от голода свело, мы больше двух суток ничего не ели… Мы тогда у нее лепешки отняли и съели. Она заревела, а мы испугались и побежали в Давыдово. По дороге встретили Тоню Суслову, сестру Ани. Она сказала:

— Девочки, в детдом не ходите. Ольга Александровна очень злая!

— Мы есть хотим!

Она посоветовала:

— Просите милостыню. Я буду говорит, а вы подпевайте.

Постучали мы в первый же дом. Вышла женщина. Тонька заревела, какие мы несчастные, нас выгнали, и теперь мы без еды и без крова… Женщина накормила нас пшенной кашей с молоком, дала с собой еще картошки, брюквы. А мы пошли к другому дому. Дом был богатый, с наличниками. Мы понадеялись, что здесь нам еще больше дадут. Вышел мужчина, послушал Тонькино пение, молча пошел домой, вернулся с ухватом и на нас!

— Ах вы нахалки! — И за нами!

А мы бегом к детдому и повстречали по дороге добрую женщину Татьяну Максимовну. Она нас пожалела и уговорила

вернуться:

— Ольга Александровна сегодня в хорошем настроении. Идите быстрее, сегодня пирожки на полдник!

В детдоме нас накормили и спать уложили, а разборку оставили на завтра.

На другой день состоялась очередная линейка. На ней выступила Ольга Александровна и сказала:

— Ребята у нас хорошие. Но не все. Есть такие, которые позорят детский дом. Вот эти три кумушки просили милостыню и позорили детский дом!

Ребята стали нас ругать и стыдить. А оттуда, где был выстроен первый отряд раздался плач. Это Вера, моя сестра, меня пожалела и заплакала. Ночью, когда все улеглись спать, группа девчонок окружила наши кровати и потребовала, чтобы мы просили прощения. Аня сразу попросила прощения, Тамара с ними заспорила, а я сразу сказала, что никакого прощения просить не стану. Тогда на меня набросили одеяло и стали бить, а я отбивалась, как могла и из-под одеяла щипала их за ноги. Спасла меня Татьяна Максимовна. Она закричала на девчонок и разогнала их по кроватям.

Геня Мориц

В детдоме дни рождения ребят всегда отмечались официально. Но существовала наша собственная традиция: каждый от себя дарил юбиляру или по куску сахара, или по финику (нам их давали в ужин). Все это заворачивали в платочки, пошитые девчонками. Однажды скопленный нами сахар пропал. Проследили и поймали с поличным негодяя Борьку Баринова, которого тут же отлупили. Но традиция, к сожалению, умерла.

Работали мы как-то в поле, и после работы я возвращался в детдом на телеге. Лошадь бежала резво, телегу сильно тряхануло на ухабе, и я громко матюгнулся. Ольга Александровна услышала, позвала меня к себе и, когда я подошел, дала мне пощечину.

В другой раз мы возвращались из леса. В руках у меня была убитая змея, которую я держал за хвост. Навстречу нам толпа девчонок. Я размахнулся и бросил змею в девчонок, не заметив, что с ними была Ольга Александровна. Слава Богу, что не попал в нее.

Вообще мои отношения с Ольгой Александровной складывались как-то противоречиво: то она меня била, то лечила.

Возились мы как-то в церкви, то ли боролись, то ли играли.

Моя нога застряла между досками, а в это время меня кто-то толкнул, и нога сломалась. Сразу прибежала Ольга Александровна, быстро наложила на ногу какие-то деревяшки и крепко обмотала ее тряпками. На другое утро запрягли лошадь и отправили меня в Халбужскую больницу, где я пролежал месяц, пока нога моя не зажила.

Весной 43-го мы с мамой и Миррой переехали на новую, уже третью квартиру в Железцово.

У новой хозяйки, высокой и суматошной Степаниды, мужа нет, а дома семеро по лавкам — от старшего Митьки, рыжего и занозистого парня, на год младше меня, до двухлетней девчушки. Все семеро босые, полураздетые, крикливые и вечно голодные.

Хозяйка наша, худая и измученная жизнью женщина, не пользовалась уважением в селе. Когда мы собирали вещи для переезда, наша Флегонтовна сказала:

— Непутевая она, Степанида. Непутевая. Вот в третьем годе ей с Макарьева кум сахарного песку килограмм привез. Дык, ты думаешь, она этот сахар сберегла, схоронила на черный день? Ништо. Она всех семерых за стол усадила, краюху хлеба нарезала, да весь песок им на стол, каждому по горсти, ссыпала. Они за минуту все и подмели…

Я сразу вспомнил, как застал утреннюю трапезу этой семьи. Ребятишки сидели за пустым столом. Мать брякнула на середину большую миску, плеснула туда молока из ведра и быстро нарезала туда штук пять-шесть огурцов. Бойко, наперегонки застучали ребята ложками, вылавливая из белой жижи зеленые кружки. Когда с ними было покончено, остаток молока ребята дохлебали уже не торопясь. Вспомнив, я живо представил себе картину: темный дощатый расщелившийся стол, вокруг него на лавках счастливая орда, быстро расправляющаяся с кучками белого сладкого чуда…

У Степаниды мы чувствовали себя спокойнее и вольнее, чем у хозяйственной и придирчивой Флегонтовны. Мало того, новая хозяйка выделила нам две грядки, которые я начал немедленно осваивать. Вычитав в «Ленинских искрах», как из одной картофелины получить пуд урожая, я задался целью провести эксперимент и получить не меньше, чем агроном, написавший эту статью. Следуя советам автора, я выкопал большую яму, удобрил ее собранными на дорогах коровьими лепешками, положил туда крупную розовую картофелину, присыпал землей, пересыпал золой из печки, положил слой конского навоза и последний слой — земляной.

Осенью, тщательно собрав урожай до самой маленькой картофелинки, я взвесил его на безмене и убедился, что получился хоть и не пуд, но 13 килограммов.

Примерно в это же время Ревекка Лазаревна поручила мне

украсить столовую такими же росписями, какие я сделал в пионерской комнате в церкви, «чтобы детям в столовой было не только вкусно, но и приятно». На этот раз я решил порадовать ребят иллюстрациями басен Крылова. Столяры сделали из чистой фанеры несколько стендов, и я с удовольствием провозился с ними около двух недель. Нарисовал сюжеты из «Волка на псарне», «Квартета», «Лисы и винограда». Потом расписал их красками все из той же коробочки, которую, на счастье, вывез из Ленинграда.

Вернувшись как-то домой после работы над стендами, я застал маму, которая со счастливой улыбкой варила манную кашу на молоке. Дело в том, что на днях мы получили из Ленинграда посылку с банкой сгущенного молока и узелком манной крупы. Сегодня мама решила устроить пир — священнодействовала над кастрюлей, а рядом с ней крутились хозяйские дети, привлеченные небывалым запахом. Когда каша сварилась, мама достала из шкафа все наши блюдечки и наполнила их до краев горячей ароматной белой массой — каждому ребенку по блюдечку.

— Вот только ложечек у меня на вас всех не хватит, — сокрушалась мама.

Однако ложечки не потребовались. Каждый ребенок благоговейно и осторожно брал блюдечко обеими руками и отправлял его содержимое в рот. После окончания трапезы, каждое блюдце было тщательно вылизано и абсолютно чистым и блестящим возвращено маме.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

1 марта 1943 года. Я теперь детдомовский летописец. Ревекка Лазаревна поручила мне писать историю детского дома. Совмещаю работу в детдоме с преподаванием в школе. Прохожу словосочетания типа женщина-летчик. Ребята придумали — парень-рубаха, душа-человек. Неожиданно прозвучало: девка-простыня… Общий хохот. Спросила у учителей, есть ли такое. Говорят, есть.

Из Горького детдом получил по ленд-лизу большую партию американской одежды. Яркие кофточки, платья разных фасонов, клетчатые шотландские юбочки наделали много переполоху. Обнова в детдоме — большое событие. Неизбалованные дети, особенно девочки, были просто счастливы: щебетали, переодевались, красовались перед зеркальцами. Мария Николаевна с утра до вечера занималась подгонкой по росту и фигуре полученных даров. Все эти вещи, как оказалось, уже были в употреблении. Но

все они чистые, глаженые, добротные. Совсем как новые.

8 марта. Ужасные сообщения с фронта. Лозовая, Павлоград, Краматорская оставлены нашими войсками. Сегодня теплый, солнечный день, душе бы радоваться…

19 апреля. Мне поручили сделать доклад по Макаренко. Начала перечитывать книги. С первых же строк он втягивает, вовлекает в диалог, в полемику, заставляя рассуждать, мыслить, делать выводы. Сколько мной наделано ошибок! Что я могу дать ребятам, кроме добрых чувств? Да и они поистратились за последнее время. Между прочим, у Макаренко нет теорий, все ощупью, как и у нас. Помогли ему личные качества, именно те, которых у меня нет. Выводы для себя: Дисциплина, не гладить по шерстке. Мама, любящая поговорки, мудрее меня, она часто говорит: «Все, что слишком — плохо». Я слушала вполуха, а теперь вижу, что это для меня. Оказывается, и добро должно быть уравновешено и проконтролировано рассудком. Иначе ребята быстро переходят грань допустимого. Надо уметь сдерживать свои душевные порывы.

25 апреля. Завтра пасха, и сегодня из двадцати пяти ребят в школу не явилось восемнадцать. Потому что грех — ведь завтра праздник. В городе, работая в школе, я никогда не замечала религиозных праздников. А тут прямо священнодействие. Все вымыли полы в избах, помылись в банях, почистились. Хозяйки необычно много варят. В семьях матери сегодня запрещают петь. Между прочим, вчера в Давыдово, когда женщины устроили богомолье, председатель сельсовета и председатель колхоза разогнали молящихся. Считаю это позорным перегибом на местах.

Из дневника Натальи Николаевны Попченко

27 апреля 43-го года. Из-за постоянных проблем с дровами я попросилась у Анны Григорьевны, жены Кронида, пустить меня в отдельную комнатушку. Но она отказала, сказав, что у них там овца. Я снова тащила дрова на себе.

В воскресенье Мирра сделала на дружине исключительный доклад о Горьком. Как она красиво говорит! Я получила огромное удовольствие. Повар Лида разжалована Ольгой в ночные сторожа за самоуправство на кухне. Лидину дочку перевели в новую группу, где та от большого ума хвасталась хорошей едой у мамы. Все довольны этим решением. Теперь повар — Шура Тютикова.

1 мая. Всю неделю делала подарки: вышивала чехлы, подушечки, кисеты для подарков фронтовикам.

Утренник у дошколят. Лучший танец у семилетней Эммочки Закревской. Самая младшая группа показала прекрасную,

придуманную Марией Степановной композицию «Весна» в двух частях: «Танцы букашек» и «Пробуждение трав». Танцы дошколят поставила Люся Рогова.

Первомайское выступление школьников подготовила и провела Мирра.

Вечером праздничный ужин для взрослых со сладким пирогом.

3 мая. Праздник закончился. Начались трудовые будни. С раннего утра вместе с Миррой и Левой копали под картошку дальнюю полосу. Вечером с ребятами поливали огород. Полили двадцать гряд и два парника, потом дополнительно, по распоряжению Ольги, еще десять гряд. Не хватает ведер, ребята поливали из тазика, облились сами. Руки у них замерзли. Ольга сказала: «Пока все не польете, не пойдете ужинать». Дети начали плакать. Тогда Ольга разрешила ужин. После ужина дети согрелись, отошли, болтали и смеялись, а у меня вспухли окоченевшие руки.

Горячие денечки. Очнуться некогда: все дни на огороде, потом восстанавливаем записи в отрядном журнале. Вчера засыпали ямы под окнами. На обед окрошка из хлебного кваса. Обеды стали несытными: на первое суп-водичка, на второе кусок пирожка. Продукты кончаются. Мешок муки детдом где-то занял. Сразу после обеда пахали на себе, впрягшись в оглоблю по шестеро, а Ольга за плугом. Когда вспахали участок, сменили плуг на борону и снова впряглись. Было очень тяжело. Вечером к ужину заслужили дополнительно по стакану молока.

8 июня. С утра на детдомовском огороде, а с восьми вечера — на коллективном, да еще и на заем ходили подписывать. Наскребли малость — всего 3600 рублей. Столяров, председатель, развалил колхоз, вот у них и денег нет. Уж лучше впрягшись в плуг пахать, чем вести по избам эти разговоры!

Июнь выдался горячий. Отряды купались, полдничали, потом устроили игры и веселые аттракционы.

В честь праздника нас, служащих, угостили свежей редиской (по две штуки) и пирогом с черникой. Натянули сетку и в первый раз играли в волейбол. Ольга и Ревекка уехали в Мантурово, Роза Михайловна осталась за директора, а я теперь работаю в отряде за двоих по двенадцать часов подряд.

9 июня. Ходили с ребятами полоть горох. Собирали щавель. После ужина сажали брюкву.

14 июня. В пять поливали детдомовский огород, а в семь коллективный. За щавелем переправлялись через Унжу на плохеньких лодочках. Переволновалась за ребят. От беспрерывной работы начали опухать ноги — туфли не надеть. А ведь мне только девятнадцать лет.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

Бегут, летят дни. Вот уже вторая половина мая. Глухой осенью пахнет этот май — резкое похолодание, дожди, старые, привезенные из города боты вязнут в весенне-осенней грязи.

В колхозе не хватает лошадей, а сеять надо, весна уже на исходе. Лошадей заменили люди. Ужасная картина, когда шесть женщин, грудью навалившись на оглоблю, медленно и надрывно тянут за собой плуг, отваливая сырой бурый пласт земли. Эта картина почище репинских «Бурлаков»! Я, наверное, была неправа, сетуя на равнодушие крестьян и сельских учителей к сводкам с фронта. Потаскай-ка такой плуг день, потом поработай на своем огороде, иначе есть детям будет нечего, — не захочешь ни сводок, ни каких-либо других известий. Тем более, что ни газет, ни книг здесь нет. Деревня кормится слухами, и все силы, физические и духовные уходят на выживание. Мы для них городские «заковыренные» (эвакуированные) и бездельники. А то, что мы блокадники — понимают, сочувствуют, особенно детям.

Местные коровы, у кого они есть, дают по пять-шесть литров молока в день. Как-то я сказала нашей хозяйке, что читала в газете, будто на Украине коровы давали по 20 литров. Ответ: «В газете наплести чего хочешь можно…».

Прошел год, войне не видно конца, а мы, также как и год назад, говорим о ней и о хлебе насущном. Здесь мы далеко не сыты, конечно, но если сравнивать с блокадой, живем, как боги.

Утром в детдоме мы получаем манную кашу, шестьсот граммов хлеба, в два часа — обед. Все, что у нас было из вещей, мы уже сменяли на продукты, на мою зарплату прикупаем картошку и иногда овощи, на большее не хватает.

31 мая. Сегодня получила письма от своих бывших учеников. И в каждом сообщение о чьей-нибудь смерти. Уже нет Левы Ареничева, Пети Ковальского, Юрика Фомичева, Сережи Лапина, Ромы Оркина. Я начала перебирать их фотокарточки и растравила себя окончательно. Какие они все были разные: шумливые и сдержанные, добросовестные и разгильдяи, озорные, веселые мальчишки со своими заботами, привязанностями, планами и хитростями…

3 июня. Ну вот, и мы познакомились с лошадиной работой — пахали и боронили на себе! Картофельное поле вспахали на лошадях, а огородное, под овощи, пришлось на себе. Вообще огородные работы отнимают много времени и сил. Но коллективно работать легче и приятнее.

Я усиленно готовлюсь к выставке, увлеклась, рада, что занято время. Но порой все кажется ненужным, мелким. Сейчас живешь

лишь войной и думаешь о войне.

На фронте без перемен. Это беспокоит. В Ленинграде на днях была сильная бомбежка. Как болит сердце от этих сведений! На подступах сбито 23 немецких самолета. Скорее бы получить письмо от этого числа.

4 июня. Сегодня подписывались на военный заем. О подписке в Горький послала телеграмму: «Стопроцентной подпиской на новый заем вместе с Армией Красной врага разобьем, 9375 ленинградцы для армии просят принять!».

5 июня. Снова пахали и боронили на себе. Как много сил отнимает огород! Днем пашем, а утром к шести часам надо идти поливать. Сейчас я одна. Мама на работе, а Лева пошел по избам подписывать крестьян на военный заем. Плохо это дело идет здесь. Темень здесь страшная. Война для них — это не кровь, жертвы, потери людей и территорий и жестокая борьба за судьбу родины. Война для них — это хлеб с мякиной, это увеличенные налоги, это пустые и скучные гулянки без парней и утяжелившийся труд без помощи мужиков.

16 июня. В детдоме ЧП! Множество детей чем-то перетравились и теперь лежат с температурой, болями в животе и рвотой. Мы полагаем, что отравление от грибов. Сварили грибной суп два дня тому назад, и несколько ребят сразу почувствовали себя к вечеру плохо. Сразу не сообразили, в чем причина, и на другой день снова грибной суп. Мой отряд весь лежит. Странно, что другая половина детей и взрослых, тоже евших этот суп, ничего не почувствовала. Все воспитатели мобилизованы на ночные дежурства.

19 июня. Вот когда мы воочию убедились, что значит жить в такой дыре, за сорок километров от станции. У нас все вверх дном! Говорят, что среди грибов оказались мухоморы. Приехали врачи из Мантурово, секретари райкома, прокурор и начальник НКВД. Ужасно! Умереть в Угорах, пережив голодную зиму в Ленинграде и эвакуацию. Умереть от каких-то грибов! Вот уже третий день у нас болтаются врачи, и до сих пор точно не установлен источник отравления. Они ведут себя чуть ли не как следователи. Ищут виноватых. Додумались до того, что это может быть диверсия и чуть ли не со стороны самих работников детдома. Паники и слухов много. Идут разговоры, что это было приготовлено и отравлено для армии. По сути, это все ужасно. Дети страдают, количество заболевших растет.

Что будет? Вчера ночью я дежурила в церкви — стоны, крик, стеклянные глаза. А мы, взрослые, мечемся около них, не зная, чем помочь, не зная, как спасать.

20 июня. Сегодня с высокой температурой и болями в животе

свалилась Эсфирь, которая двое суток не отходила от больных детей. Лежит в церкви вместе с ребятами.

Из дневника Натальи Николаены Попченко

18 июня. Ужасный день! Семьдесят детей и двое взрослых отравлены! Два дошколенка в тяжелом состоянии. В моем отряде пять больных. Хуже всех Тамаре Кнурр. Я ее перетащила на руках в церковь. За Фаиной и Алей приехала сестра и увезла их и заодно Шавкета. Сегодня ночью дежурю у больных, а завтра с утра работаю в отряде.

21 июня. Ночь с 18-го на 19-е была очень тяжелой. В церкви со всех сторон стоны. Мантуровские врачи — размалеванные бестолковые вертихвостки. В ужин всех детей еще накормили черными сухарями с маслом и простоквашей. Начались жуткие боли. Всю ночь давали грелки, делали компрессы, растирали животы, малюток качали на руках. Сердце надрывалось, когда они тянули ручонки и кричали. Эсфирь, дежурившая вторую ночь, уснула. Татьяна Максимовна тоже.

С утра окучивали картофель, к восьми опять дежурство в церкви. Из взрослых ребят почти никто не пострадал, кроме Ани Кипровской.

Вторая ночь была спокойнее первой. Делали уколы камфарой Нине Крепковой. Очень плохо было моему Толику и Юрочке Кнурр. Я им принесла грелки. В какой-то момент мне показалось, что у Толи нет пульса. Продежурила до шести, два часа поспала и пошла в группу.

Вдруг прилетел самолет из Горького с доктором. Эта женщина стала по-деловому лечить всех. Заставила переменить всем больным белье, обследовала в кладовой продукты, допрашивала Николая Васильевича Рогова, сразу потребовала для осмотра детские горшки и через два-три дня поставила детдом на ноги! В благодарность ей — цветы, праздничный ужин и концерт — лучшие выступления из программ прошлых праздников. Ребят уложили — и на собрание с Мантуровским начальством и начальником всех детдомов Горьковской области Левиным. Мнение начальства о детдоме самое хорошее. Воспитание правильное. Хозяйство удовлетворительное. Дети в хорошем состоянии, как дома.

2 июля. В свой свободный день пошла за земляникой на косогоры «Отрады» — имения, в котором когда-то жил Фонвизин. От барского дома остался один остов. Крестьяне разобрали дом на доски, рамы; нетронутым остался только парк. В этом парке

детдом дважды устраивал праздники.

Во вторник местный праздник — Тихонов день. Все население перепилось, в урочище местные ребята передрались.

У нас справляли день рождения Толи и Вовы Павловых. Всю собранную землянику отдала именинникам. Девочки-вожатые подарили им свое печенье.

Третий и четвертый отряды отправились на реку сгребать сено, а второй — в лес по ягоды. Началась гроза с проливным дождем.

Наступила ягодная пора. Каждый день отряды собирают ягоды на общий стол и для дошколят. Одновременно учимся плести корзины из ивовых прутьев. Заготавливаем сено со вторым отрядом на той стороне Унжи. Заодно купались и немного позагорали на нашем пляже. Места там красивые. Кругом поляны белые — ковер из ромашек — красота!

Ольга Александровна Саренок

Лето 43-го года. Мы с Ревеккой поехали в Мантурово за продуктами. Получили там мешок сушеной картошки и впридачу мешок сухих грибов. Лошадей на обратный путь мы не достали, поэтому согласились на предложение погрузить продукты в лодку и плыть по течению Унжи от Мантурова до Угор — это примерно сорок километров. Грести не надо, лодку течение само понесет.

Поплыли. Привезли продукты, сдали на кухню. На другой день повара наварили на обед грибной суп. Все ели, радовались. А ночью половина детдома легла с болями в животе, с рвотой и поносами. Это произошло 13 июня 43-го года. Я сразу позвонила в сельсовет в Мантурово. Вызвала помощь: санитарного врача, главного эпидемиолога. Пока добирались, мобилизовала всех взрослых для оказания помощи детям. Мучились мы с ними всю ночь и следующий день. Температура у ребят все поднималась. Особенно тяжело было с дошколятами. А врачей из Мантурова нет как нет. Я снова в сельсовет, звонить. А мне говорят:

— Приехали они. Уже вчера. В избе лесника пьют.

Я бегом туда. Открываю дверь, а там дым коромыслом! Две женщины — эпидемиологи, санитарный врач и начальник Мантуровского НКВД Кудреватых пьяные в дымину. На столе полупустой графин со спиртом, который привезли для уколов детям, огурцы, хлеб… Не то чтобы детей лечить — встать от стола не могут, так напились!

Я бегом на почту. Даю телеграмму в Горький: «В детдоме массовое отравление. Прошу срочную помощь. Местной помощи

нет. Директор д/д 55/61 Саренок». Оттуда сразу же прилетел самолет с очень хорошими врачами, которые немедленно взялись за дело — начали всем больным промывать желудки и делать все необходимое.

К сожалению, двух дошколят потеряли. Спасти их не удалось — очень были тяжелые, и помощь опоздала.

Потом меня потянули в суд в Горький. Эти трое из Мантурова, когда протрезвели, чтобы свалить вину на меня, дали показания, что отравление произошло из-за нелуженых котлов. Однако вскрытие желудков погибших детей показало, что смерть наступила от грибного яда.

Суд состоялся 27 августа. Санврачу дали пять лет, Кудреватых сняли, а мне — принудиловка на полгода. Двадцать пять процентов зарплаты.

Ревекка Лазаревна Златогорская

Кудреватых уже давно обиду на детский дом затаил, и виновницей этой обиды, видимо была я.

Когда Ольга Александровна уехала за своими детьми в Сибирь, она оставила меня исполняющим обязанности директора. В это время, как на грех, нагрянул начальник Мантуровского НКВД со своей подругой. Они оба были сильно под мухой. Я представилась ему, а он сказал, что хочет посмотреть наших детей и поговорить с ними, на что я ему довольно сухо ответила, что у нас сейчас тихий час, дети спят и я их будить не намерена.

С тем он и уехал. Потом ко мне подошла медсестра Валя и спросила, как мне понравился начальник НКВД. Я ответила:

— Не понравился. На территории детского дома не должно быть пьяных…

Откуда мне было знать, что Валя в детдоме работает по совместительству, а основная ее должность в ведомстве Кудреватых?

Мои нелицеприятные слова немедленно были переданы в Мантурово и аукнулись Ольге, когда ей потребовался пропуск с подписью Кудреватых для какой-то деловой поездки. В пропуске он ей отказал, сказав, что ее заместительница распускала про него ложные слухи, будто он пьет. Ольга еще поддала жару, сказав, что ее завуч никогда не врет, после чего разговор о пропуске закончился.

Грибная история потрясла всех. Когда мы с Ольгой возвращались на лодках, мы не знали и не ведали, что везем в детдом большую беду…

Когда пришла беда, весь коллектив и сама Ольга Александровна вели себя исключительно самоотверженно, не отходя от детей несколько суток.

Может быть, если бы в работу сразу активно и квалифицировано включились мантуровские врачи, двое дошколят тоже бы остались жить. Но эти наглые молодые бабы ночь пьянствовали и день протрезвлялись, а потом уже в их услугах никто не нуждался, потому что за дело взялась доктор Клиорина, прилетевшая из Горького, и моментально, ни минуты не теряя, развила бурную деятельность.

Не могу не отметить еще один факт, характеризующий этих местных «врачей». Угорские колхозницы, узнав, что приехали врачи, потянулись к ним со своими болезнями за советами. Им всем отказали: «Прием только в больнице». А Клиорина всех приняла, всем дала нужные советы, выписала рецепты, раздала оставшиеся после лечения детей лекарства.

Лев Разумовский

Как-то летом мы устроили «День смеха». На большой зеленой поляне перед церковью собрался весь детдом. Мы предложили потешное соревнование — бег в мешках. Добровольцы влезли в большие мешки из рогожи и по команде бежали наперегонки метров двадцать, до финиша. Ребят охватил азарт. Они очень старались, поэтому часто падали, но вставали и снова бежали. Победителей ждали призы, придуманные самими ребятами. Не помню, кто победил, но смеху было много.

Второй вид соревнований — бег с картофелиной в ложке. Надо было пробежать те же двадцать метров, не выронив картофелину. Соревнующиеся стояли в очереди, каждому хотелось попробовать свои силы. Зрители бурно болели за своих друзей.

Но самый главный потешный аттракцион я оставил напоследок и преподнес его как сюрприз. К нему я стал готовиться за неделю до Дня смеха. Вылепил из папье-маше круглую голову с раззявленным в улыбке ртом до ушей и с выпученными, круглыми глазами. Расписал ее — нос и щеки красные. Голова получилась большая: через отверстие снизу в нее легко проходила моя голова. Дырочки для глаз я не проделал сознательно — так было задумано.

Когда ребята закончили соревнования по бегу, я пригласил двух желающих провести потешный бой. Одному надел на голову маску и дал в руки подушку, другому завязал глаза полотенцем и

дал в руки колокольчик. Дальше по моему свистку тот, у кого был колокольчик должен был убегать от своего противника и время от времени звонить, а другой должен был его догонять, ориентируясь на звук колокольчика, и лупить подушкой.

Эта игра проходила под общий хохот. Партнеры не видя друг друга бестолково метались по кругу, натыкались друг на друга, на зрителей, разбегались в стороны. Маска остервенело лупила подушкой направо и налево по воздуху и по зрителям, а колокольчик звенел то тут, то там, иногда под самым носом противника. Полный восторг у ребят вызвал момент, когда подушка просвистела в воздухе рядом с головой нашей кастеляншки Евгении Борисовны, вовремя шарахнувшейся в сторону.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

24 июня. Пошел уже третий год войны. Самое время открыть второй фронт. Хоть бы превратилась в реальность эта всеобщая мечта. Нашей армии стало бы намного легче. Дни бегут быстро, но почему же время движется так медленно?

Веру сняли с отряда, очень жаль. Думаю отвлечься от всего постановкой пьесы А. Бруштейн «Голубое и розовое».

27 июня. Чьи-то козы сожрали капусту на нашем личном участке. Жаль. Хорошо хоть картофельную ботву не едят: есть надежда, что картошку убережем.

Сегодня сидела и мечтала о будущем. Когда-нибудь я снова попаду в Ленинград, увижу Публичку, Эрмитаж.

30 июня. К Наде приехал муж, правда, только на сутки. Но и сутки — большой подарок после двухлетней разлуки. Он много и интересно рассказывал о войне, мы засыпали его вопросами. Когда закончится война? Почему не выступают союзники? Пустят ли нас в Ленинград?

Лева тяготится своей работой пионервожатого. Ну какой он воспитатель в свои семнадцать лет? 3-й отряд тридцать человек, они младше его всего на три-четыре года. На днях он вообще сорвался: его воспитанник дал ему в глаз, а он, не выдержав, дал ему сдачи по зубам.

Победа на Белгородском и Орловском направлении — ура! Сталин сказал: нужны еще три-четыре таких удара, и немцы будут разбиты. Когда же будет нанесен последний и мы глубоко вздохнем на освобожденной нашей Родине? Но он будет. Это время придет. Надо терпеливо работать и ждать.

26 июля. Муссолини скинули. Одним фашистским вождем

меньше. Отразится ли это на войне? Ускорит ли ее конец?

Из дневника Натальи Николаевны Попченко

8 июля. День рождения Ревекки прошел скромно. Подарили миску земляники. Земляника кончается, зато полно черники. Вчера набрала семь килограммов.

13 июля. Ходила в Мантурово — провожала девочек в ремесленное училище. Почти всю дорогу шли пешком. Телега с вещами шла рядом. Девочки выдохлись. На место пришли поздно вечером. Ночевали в школе. Потом канитель с оформлением. Сфотографировались вместе и расстались. Пошла в кино на «Сталинград».

26 июля. День рождения Ольги. Торжественная линейка с подарками. Цветы, голубой передник, лукошко черники и четыре банки варенья. Именинница была в белом шелковом американском костюме.

2 августа. Ровно год, как мы в Угорах. Итоги для себя: хотя физически приходилось работать, как никогда, но обогатились разнообразным опытом. Начинать учиться будет трудно. Многое позабыто, речь засорилась местным диалектом. Успехи на фронте — взяты Орел и Белгород.

3 августа. Сегодня «Праздник урожая, или Ешь сколько хочешь!». Прошел торжественно. Пятому отряду — Красное знамя за хорошую работу, сообщение директора о результатах: собрали пшеницы 500 кг, ячменя 230 кг, гороха 400 кг, картофеля 30 тонн, капусты 3.5 тонны.

Потом был праздничный обед, ребята съели по две порции. Потом разыграли литературный монтаж. Появился Урожай в костюме из соломы, пояс из брюквы, на голове тыква. Урожай:

— Добрый день! А вот и я! Рад вас видеть всех, друзья! Кто же я, вы угадайте, быстро имя называйте. Ну, кто первый? Соображай, мое имя…

Ребята:

— УРОЖАЙ!

Потом были песни, танцы, выступления дошколят.

1 сентября. Мой отряд пошел в школу, а я провела политинформацию в колхозной бригаде. Женщины ближе всего приняли рассказ о героизме солдат. Но при этом ворчали, что их без хлеба гоняют в поле. Теребим лен, потом околачиваем на риге — помощь колхозу.

5 сентября. Пришел долгожданный пропуск в Ленинград.

11 сентября. Италия капитулировала! Скорей бы немцы

пришли к краху, так же, как Наполеон.

Собрались у Люси Роговой на день рождения. Мирра довела всех до коликов в животе от смеха своими рассказами о хозяевах, о поле и о суде, который недавно состоялся в сельсовете.

16 сентября. Три картофельных дня. Три дня в мокрых лаптях. Все тело болит. Пришлось перемерить и разделить всю картошку с коллективного участка. Получилось по 15 пудов на человека. Занимались этим с девяти утра до двенадцати ночи. Уже при луне догнала Мирру и в последний раз помогла ей донести до дому мешок с картошкой. Прощай, Угоры!

Лев Разумовский

Июль закончился событием знаменательным и долгожданным — Шурка-письмоноска принесла мне повестку из Мантуровского райвоенкомата. Я обязан явиться для приписки 2 августа к 9.00.

Только вечером вышел из Угор. До Шулево было светло, хотя и моросил мелкий дождик, а дальше стало темнеть. Скоро уже шел в полной темноте, угадывая белеющую дорогу и минуя большие лужи. Лапти быстро промокли, поэтому на середине дороге, километров за двадцать от Угор, постучался в крайнюю избу, попросился ночевать.

Хозяева открыли не сразу.

— Чего надо?

— Я из Угор. Иду в Мантурово на приписку. Нельзя ли переночевать?

— Кто такой?

— Я из детдома.

Дверь открылась, и меня впустили. В избе было чисто и красиво. На полу лежали домотканые цветные дорожки. Хозяева, худой мужчина лет пятидесяти и его жена, оказались очень добрыми людьми. Позвали к столу, накормили густым гороховым супом. Хлеб, вынутый мной из котомки к столу, велели убрать назад («еще долго попойдешь»), а дали своего.

Стали расспрашивать про детдом, искренне удивлялись, что я «с самого Ленинграда». В тепле, за ужином я разговорился, рассказал о блокаде, бомбежках, голоде, о родителях. Хозяева слушали сочувственно, с большим вниманием. Они ничего не знали о блокаде! Лапти мои поставили сушиться в печурку, а мне постелили на полу.

Рано утром хозяйка разбудила меня и, провожая, сунула мне в котомку пару крутых яиц и две луковицы, а хозяин сказал:

— Буде, паря, еще мимо нас ходить — не проходи мимо!

В райвоенкомат я пришел вовремя, ровно к девяти. Грязное, тесное помещение, суета шумных парней в очереди к столу, грубость и резкие выкрики служащих военкомата — какой контраст после теплоты и радушия простых крестьян! Всех прибывших на приписку остригли под машинку. До чего же смешной у меня будет вид, когда явлюсь в детдом!

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

6 августа 1943 года. Леву побрили, сейчас он дома и ждет приказа явиться. Сразу как-то повзрослел и возмужал. У меня новости: пока я болела, меня перевели на другую работу — теперь я секретарь директора, короче канцелярская крыса.

Еще одна любопытная новость, совсем из другой оперы. Когда уезжали из Ленинграда, я написала «Историю детдома» и сдала ее Раскину в Институт усовершенствования учителей. Каково же было мое удивление, когда в журнале «Дошкольное воспитание» я увидела эту мою работу, опубликованную за подписью Раскина! Ну как тут не вспомнить одну из многочисленных маминых поговорок: «Боже, как велик и разнообразен твой зверинец!» А, да черт с ним.

В журнале «Крокодил» наткнулась на карикатуру художника Елисеева, которую он назвал «Тильзитские гадания». На подоконнике сидит немка, смотрит в темное небо и гадает на ромашке, обрывая лепестки, в ожидании советских самолетов. Внизу подпись: «Сбросит? Не сбросит?..» Отсюда родилась идея «гадания». Использовать в монтаже?

7 августа.

Современное гадание

Раньше гадали: любит не любит?
Скоро ль, не скоро меня позабудет…

Марта гадала, и Лотта гадала,
И лепестки у цветка обрывала.
Скоро ли суженый замуж возьмет?
Много ли денег ей муж принесет?

Вновь с маргариткою Лотта сидит,
Рвет лепестки и на небо глядит.
Слышится в воздухе звук эскадрилий,
Грозно гудят краснозвездные крылья.

Сбросит, не сбросит?.. и рвет лепесточки
Сбросит ли бомбу на ближнюю точку
Этот ужасный советский пилот,
Или фугаска вдали упадет?

Сбросит! — листочек ромашки вещает,
Бомбы советские в цель попадают!

Лотта и Марта! Молитесь в Берлине!
Грета в Тильзите, трясись на перине!
В Руре Луиза, пиши завещание —
Вам не помогут ни Бог, ни гаданье!

Сбросит сегодня, и завтра он сбросит,
Груз смертоносный для этого носит,
Чтобы вы, Марты, Шарлотты и Минны,
Вспомнили нашу в крови Украину.

Чтобы вы подняли в Логове вой,
Так же, как ваши мужья под Москвой,
Ваши Карлуши в тисках Сталинграда!
Ваши Альфреды у стен Ленинграда!

Срочно пишите свои завещания —
Красные асы летят на свиданье!

8 августа. Сводки Информбюро очень хорошие! Орел и Белгород наши! Несчастный Орел двадцать два месяца был оккупирован. Наступление продолжается на Брянском и Харьковском направлениях.

Лева пока дома, но я все время ощущаю, что это последние денечки. Пока он по-детски радуется каждой выкопанной картофелине и каждому снятому огурцу с нашего огорода, который он сам же и посадил.

9 августа. Наши овладели городом Богодухов под Харьковом. Наступление продолжается. Может быть, скоро войне конец? Но ведь вся Украина, Белоруссия, Крым еще у врага. Не отвлекают меня от тревожных мыслей ни лес, ни ягоды, ни речка. Читаю «Записки Пиквикского клуба». Как бесконечно далека та жизнь!

13 августа. Пришло горькое письмо от Лили. Многое выпало на ее долю. Хорошо, что с ней папа. Ленинград все время обстреливают, и судя по письму, видимо, очень интенсивно.

16 августа. Завтра день рождения Веры. Дарю ей свое стихотворение «Ленинград».

ЛЕНИНГРАД

Ленинград — это точка на карте для многих,
Это северный порт на гранитной Неве,
А для нас Ленинград — это Жизни дорога,
Это наши мечты в голубой синеве.

Мы узнали тревожное слово «блокада»,
Цену жизни надолго запомнили мы,
Помним рваные раны домов Ленинграда
И безлюдные улицы, полные тьмы.

Мы увидели город, собравшийся с силой,
Возмужавший мгновенно, как будто за миг,
Мы свидетели славной, невиданной были,
Очевидцы того, чем наш город велик.

Он не точка для нас и не порт величавый,
Он для нас — целый мир, безграничный и свой,
Где страданье и твердость сплотились со славой,
И где мужество взмыло над нашей Невой!

И когда отзвучат голоса канонады,
И когда возвратятся бойцы к очагам,
Мы вернемся к стенам своего Ленинграда
И пройдемся по невским его берегам!

Все изгладится временем: боль и невзгоды,
Пережитое станет исчезнувшим сном,
Только слава о людях, боях и походах
не умрет, возрождаясь опять под пером.

Возрождаясь в былинах, задумчивых песнях,
Оживая в рассказах для наших внучат,
И из сказок рассказанных самой чудесной
Будет сказкою быль о тебе, Ленинград!

24 августа. Ура! Харьков наш!
Сегодня получили со своего коллективного огорода наш пай —

700 граммов моркови. Мы не агрономы — это очевидно. Мы сняли урожай по 600 граммов лука на человека. А сажали по 800! Ну и Мичурины же мы! Газетные новости: союзники провели совещание на высшем уровне. Почему там не было Сталина? Почему из Америки отозвали Литвинова?

Ольгу Александровну вызвали в суд по делу о массовом отравлении грибами. Мне жаль ее, так как она ни в чем не виновата. Более того, во время общей беды она не вылезала из церкви, оказывая помощь больным детям и днем, и ночью. Было бы несправедливо обвинять ее.

27 августа. Ленинград под непрестанным обстрелом. Несчастный город! Военный госпиталь Лили — объект обстрела. У папы проклятая работа — все время на улице…

В напряжении ждем звонка из Мантурова. У всех один вопрос — как дела с судом?

Вспоминаю первое сентября несколько лет назад. Институт, мечты, юность. Подруги, учеба. Сейчас ощущаю себя очень уставшей, словно за спиной вереница лет. Часто болит сердце.

Решили устраивать «наши беседки». Собираться вечерами вместе. От скуки и тоски и это можно.

Лева пока дома. Каждый день — это наш вырванный у войны день. Сколько еще таких дней нам осталось?

4 сентября. Освобожден город Сумы. Английские и канадские войска высадились на территории Италии. Неужели это и есть долгожданный второй фронт?

От Ольги пришла телеграмма — «Все в порядке!» Молодцы они, добились своего! Значит, суда не будет. Правда восторжествовала. Будет ли наказан порок?

6 сентября. У нас оживление — в нашу глушь привезли кинопередвижку. Будут показывать «Боевой киносборник». Пойду и я смотреть.

Вечер. Нам показали семь киножурналов. Все очень интересно. Кроме сюжетов жадно смотрела на новые лица — ведь так приелось целый год видеть одних и тех же людей.

Наши продолжают наступать. Взяты Константиновка, Конотоп, Краматорская. Все это приближает конец войны. Скорее бы!

11 сентября. Говорят, капитулировала Италия. Скорее бы пришла газета! Эти дни сумасшедшие: копаем картошку, детдомовскую и свою, переезжаем на новую квартиру, и все надо делать сразу, в одно время.

Картошка даже снится.

20 сентября. Наташа Попченко едет в Москву. Ее вызвал институт. Счастливица!

В августе 43-го в Угорах прошли слухи, что вскоре состоится суд над местной колхозницей, укравшей два ведра семенной ржи. Через несколько дней в нашей столовой появился мужчина, сразу привлекший к себе всеобщее внимание необычным видом и поведением. Среди женского коллектива детдома несколько раз прошелестело слово «судья». Судья был чисто выбрит, аскетичен и бесстрастен. Черный костюм, отглаженная белая рубашка и черный галстук завершали его портрет. Особенно поразило всех, как он обедал. От радушно предложенных ему супа и каши сразу отказался, аккуратно поддернув складки на глаженых брюках, присел за стол, раскрыл свой чемоданчик, вынул бутерброды, завернутые в кальку, развернул газету, положил ее на стол и принялся невозмутимо откусывать маленькими кусочками белый хлеб, читать газету и попивать чай из своего термоса. Внимательно наблюдавшая эту сцену наша повариха тетя Шура Тютикова вытерла мокрые руки о передник и, тихо и убежденно сказав: «Этот засудит!», — ушла на кухню.

Вечером помещение сельсовета, где должна была состояться выездная сессия суда, было набито битком. Событие было из ряда вон выходящее. Пришли все, кто мог. Духота, шум, многолюдство. Пьяные парни лузгали семечки, задирали девок, те визжали. Над собравшимися висел густой дым крепкого самосада. Кто успел, разместились на лавках и на полу, остальные теснились стоя.

У противоположной стенки стоял стол, накрытый красной материей, на нем графин с водой и граненый стакан.

За столом сидели две незнакомые женщины из Горького, в углу — здоровенный мужик в милицейской форме. Рядом с ним сидела на табуретке худая, испуганно озирающаяся по сторонам женщина лет сорока — подсудимая.

Под этот базар судья встал перед столом и негромким тусклым голосом объявил:

— Судебное заседание выездной сессии Горьковского областного суда считаю открытым.

Первые его слова потонули в шуме. Не повышая голоса и даже не сделав паузы, судья монотонно продолжил:

— Предупреждаю: шум, выкрики и нарушение дисциплины в зале суда, срывающие судебный процесс, приравниваются к хулиганству и дают основание для возбуждения уголовных дел согласно соответствующей статье уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Последние слова этой фразы падали как удары молотком по

железу в мгновенно наступившей в зале гробовой тишине.

Дальше начался сам суд. Подробности его, к сожалению, за давностью лет уплыли из памяти. Помню только рассказ бригадира о том, как он встретил Прасковью, идущую с колхозного поля с мешком на спине. Заподозрил неладное. Остановил ее. В мешке оказалась рожь. Где взяла? С ответом стала путаться. Завернул ее назад, к полю и обнаружил, что колхозники, работавшие там, куда-то ушли, бросив два мешка с семенами на краю поля. Один мешок был наполовину пуст.

Помню, как бестолково, сбивчиво оправдывалась обвиняемая, как плакала, утирая слезы и нос платком, как поминала своих голодных детей.

В памяти остались слова приговора, монотонно зачитанного судьей: «На основании статьи… Уголовного кодекса РСФСР… и учитывая… к одному году лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях…»

Год тюрьмы!

Помню еще, что при выходе одна женщина негромко сказала соседке:

— Вот так, Марья! Хлеба дети просили… А нынче без хлеба и без матери…

И испуганно оглянулась на меня.

После суда был объявлен перерыв, и милиционер попросил не расходиться. Половина сельчан ушла, молодежь осталась. Милиционер рассказал, что за последнее время в области появилось много дезертиров, укрывающихся от армии. Они живут в лесах, вооружены, нуждаются в питании и поэтому иногда заходят в дома и забирают продукты, угрожая оружием.

Он призвал нас быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных лицах в сельсовет или прямо в район.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

8 ноября. Взят Киев! Мы все целовались! Я всех обегала, чтобы первой прокричать эту радость. Вчера отмечали праздник. Было шумно, весело, много вина. Это последний праздник Левы в Угорах. Дома уже собраны в дорогу все его вещи. Осталось собрать запас еды на несколько дней.

Лев Разумовский

С утра одиннадцатого ноября началось прощание с детским

домом. После школы и обеда ребята моего отряда собрались в столовой. Туда же пришел почти весь четвертый отряд и несколько ребят из второго. Еще ни разу в течение полутора лет я не был в таком центре всеобщего внимания. Взрослые, воспитатели всех отрядов и технические работники провожали меня добрыми словами, улыбками и напутствиями. Дети же наперебой дарили разные мелочи, нужные и ненужные, обещали писать мне в армию, не забывать и хором пели мне наши детдомовские песни.

Наша повариха тетя Шура Тютикова сама принесла мне суп и щедро отвалила вторую порцию второго:

— Когда еще тебя в армии накормят!

Ребятишки из второго отряда преподнесли кулек с конфетами, накопленными ими за последние несколько завтраков, а на кухне сама Ольга Александровна напекла мне в дорогу пирожки с мясом.

При общем шуме я как-то обмолвился, что для армии у меня есть все, кроме перочинного ножа. Кто-то из ребят сказал:

— Юрка! У тебя же есть ножик. Подари Леве.

— Ну уж нет, — сказал Юрка и вышел из столовой.

Мы продолжали разговаривать. Я вручил Завену коробочку с акварелью — она верно мне послужила и была больше не нужна. Во взаимных приветствиях и прощаниях прошло еще минут сорок, ребята стали расходиться. Я тоже направился к выходу, надо было еще закончить паковать вещи и еду, которую я брал в дорогу. У двери меня встретил Юрка. Как-то странно избочась и опустив голову, сказал:

— На нож…

Я взял нож, поблагодарил его, внутренне подивившись, чего это он так раздобрился. Он повернулся и быстро вышел, но я успел заметить, что одна щека у него была красной и вроде бы слегка припухшей. Я окликнул его, но он убежал. За дверью промелькнула Сашкина физиономия и сразу же исчезла…

Вечером, когда вещи уже были сложены, в нашей избе собрались самые близкие друзья: Вера и Люся Роговы, Эсфирь, Ревекка Лазаревна, Роза Михайловна с Валей. Мы выпили по чашке чая с конфетами, тепло попрощались. Я надел бушлат, взял котомку, и мы с мамой и Миррой вышли на зимнюю дорогу. Светила луна. На улице шумно. Это угорские матери провожают своих сыновей. Плачут. В отдалении двое саней, на которых свалены сидора уходящих. Я еще раз целую маму и Мирру, мы жмем друг другу руки, и я, бросив свой мешок на воз, вливаюсь в группу полупьяных парней, впервые реально ощутив, что мне теперь жить с ними, а детдом и родные с этой минуты остаются

далеко-далеко…

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

12 ноября 1943 года. Опустели Угоры. Вчера вечером пришли все сотрудники. Тускло горела коптилка. Все сидели и пели, а я петь не могла. Потом, когда все ушли, я сбегала в дом напротив, где гуляли призывники. От одного вида этих ребят закружилась голова. В этой среде ему жить…

Наконец, часа в два ночи мы вышли. Была тихая, светлая, снежная ночь. Парни орали пьяными голосами, матери в голос выли, играл баян. Дошли до Копцевской горы — традиционного места расставаний. Уходя, он все оборачивался, группа таяла в дали наконец скрылась за поворотом. Слышались только затихающие песни…

Теперь надо ждать писем…

21 ноября. Пришла телеграмма из Горького о подготовке группы ребят для отправки в ремесленное училище в Ленинград. Все всполошились. Это хороший симптом. Значит, Ленинград становится сравнительно спокойным. Но ведь обстрелы еще не прекратились. Что все это значит?

23 ноября. Наши оставили Житомир! Меня словно обухом по голове… Вот несчастье!

Сегодня выдали по 125 граммов сахара. Очень приятно, ведь мы забыли его вкус.

Ольга выгнала Игоря из детдома, приказала сдать лыжи и снять его с питания, чем восстановила против себя весь коллектив. Антонина Лаврентьевна очень переживает эту историю.

Все эти дни перед праздником репетирую новогодний монтаж. В нем участвуют ребята из всех отрядов. Самых активных, способных и артистичных я назначаю на главные роли, другие участвуют в хоровом пении или декламации. Мне нравится их живая реакция на новые стихи и чисто детская особенность — любовь к переодеваниям и к перевоплощениям. С ними я забываю о своих заботах и болячках.

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА… Ленинград салютует двадцатью залпами из трехсот двадцати четырех орудий!!! Наконец-то! Когда ко мне пару дней тому назад ворвалась Вера и звенящим от волнения голосом прокричала о прорыве на Ленинградском фронте и взятии Петергофа, я сразу как-то ослабла от радости. Мы все обнимались и целовались, и даже опостылевшие мне Угоры показались в этот день милее. И все эти дни подряд несся победный

поток отобранных у врага знакомых и любимых мест: уже Пушкин, Лигово, Стрельна! Уже Новгород, Красное село, Тосно, Любань!.. Представляю ликование ленинградцев. Как хочется быть там, разделить их радость!

От наших пришла телеграмма: «Ждите вызова». События замечательные. Война, видимо, идет к концу. Теперь я начинаю верить, что через некоторое время я увижу папу, Лилю, Гаррика. Из письма узнаю: пленные немцы в Ленинграде убирают снег.

2 февраля. Будем праздновать снятие блокады! Готовлю материалы, а пока родилось следующее (на мотив песни из кинофильма «Истребители»):

Сегодня город наш спокойно дышит,
Родные ветры веют над Невой,
Любимый город выстрелов не слышит,
Любимый город — воин и герой.

Когда домой в края свои вернемся
И радость птицей взмоет над Невой,
Мы Ленинграду нежно улыбнемся —
Любимый город — воин и герой!

25 февраля. Пока суд да дело, продолжаю работать в школе.

Местные нравы. Одна учительница набрала 22 адреса полевых почт и двадцати двум фронтовикам посылает свои карточки. Письма пишу ей я, по ее просьбе. Письма она сшила в тетрадь с надписью «Образцы». Я спросила. Почему такое количество? Ответ:

— А почем я знаю, какой будет мой? Тот или этот?

Учительница немецкого языка дала классу самостоятельную работу — перевод, а сама ушла за перегородку, легла за русскую печку и оттуда через фанерную стену руководила уроком.

В школе говорю, что нужно сделать в тетради поля. Ученик встает и, глядя невинными голубыми глазами, серьезно переспрашивает:

— Мирра Самсоновна, делать поля или хоть насрать?

Лева прислал фотокарточку. Он в шинели, зимней шапке и в погонах. Мой брат — красноармеец! Не могу поверить.

Галя Филимонова

Хозяйка дома, в котором находился изолятор, вместе с другими колхозницами заготовляла в лесу дрова для детдома, и

на нее напала медведица. Хозяйку увезли в больницу, охотники пошли в лес искать следы и через три дня вернулись, везя на самодельных санях тушу большой медведицы и трех живых медвежат в мешке. Двух увезли в Мантурово, а одного отдали в детдом. Медвежонок бегал по двору, пугал кур и скулил около вывешенной на плетне шкуры матери. Потом он стал выходить на улицу и забрел к нам в группу, где и остался жить. Как мы радовались, когда у нас появился свой медвежонок! Это было счастливое для нас время! Все его наперебой кормили, гладили, играли с ним. А он привязался к нам и ходил в нашем строю в столовую. Но время шло, и мишка рос быстрее нас. Скоро игры с ним стали опасными. Кроме того, он научился лазить через окно в столовую: по ветке березы добирался до окна, раскачивал ее и прыгал в окошко. Ольга Александровна отправила его с оказией в Мантурово.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

5 марта 1944 года. К восьмому марта написала литературный монтаж «Ленинградке».

Тебе, ленинградке, тревоги познавшей,
Тебе, ленинградке, на крыше стоявшей,
Тебе, ленинградке, спасающей жизни,
Работавшей честно на славу отчизны,

Тебе, ленинградке, познавшей невзгоды,
Достойно прошедшей сквозь трудные годы,
Сегодня привет пионерский мы шлем
И поздравление с праздничным днем.

В этом монтаже стихи чередуются с прозой, после нее звучат песни, написанные мной на популярные мотивы «Если завтра война», «Лейся песня на просторе» и др.

2 апреля. Взят Очаков. Фронт движется к Одессе, Кишиневу, Тирасполю. Дни стали очень длинные. Я стараюсь занять время — переделываю прочитанные сюжеты из книг на пьесы или сочиняю письма в стихах, которые пишу сразу без черновиков.

«…Эти дни я все время с тобою, дорогой и любимый мой брат, потому что, в стихах своих роясь, возвращаюсь я думой назад. В эти дни я тебя вспоминала — ведь апрель, а за ним будет май. В прошлый май я тебя поздравляла, вновь стихи ты мои прочитай. Все в порядке у нас. Мы здоровы. Писем ждем от тебя, дорогой.

Твое каждое краткое слово нам приносит желанный покой. Сводки радуют: мы в наступленье, отступают фашисты гурьбой, скоро наша земля, без сомненья, наконец-то получит покой. Как живешь ты? Пиши нам, хороший, расскажи о себе, о друзьях, расскажи об учебе, что можно, и о ваших чувашских краях. Спать пойду. Завтра много работы. Я устала за день трудовой. Спи, братишка, без всякой заботы. Будь здоров, невредим, дорогой!».

12 апреля. Освобождены Одесса и Керчь. В детдоме репетируем к Первому мая бездарную пьесу Водопьянова «Вынужденная посадка». Очевидно, что как летчик он лучше, чем как литератор.

По просьбе местных девушек, ведущих переписку с «заглазниками», я пишу им письма. В знак доверия они показывают мне ответные письма. В них феноменальны первые фразы. Например: «Разрешите войти!», «Фронт и тыл едины — будем семьянины!», «Милости просим, и я к вам не прочь!». В одно из писем была вложена записка: «Уважаемый цензур! Если Вы мужчина, прошу вас не вынать вкладыш, в нем нет ничего против вождей или там чего. Это письмо любимой — проверка сообразительности и как забава. Но записку мою изъяте».

15 мая. Сегодня работала на поле. Оглянулась и подумала, что уже прошел еще один год. А вокруг ничего не изменилось, и трава такая же на буграх растет. Как-то очень хорошо действуют эти весенние теплые деньки, шелест листвы, шум ветра, голубизна Унжи.

Двое наших сотрудников получили вызовы и пропуска и могут хоть сегодня выезжать в Ленинград.

Вчера видела Сергея — Вериного друга, вернувшегося с фронта. Он показывал трофейные снимки, вынутые из кармана убитого немца Было очень неприятно держать в руках эти фотографии. Некоторые лица — лица кретинов, другие — породистые, тонкие. Женщины все полные, холеные, хорошо одетые, откормленные, на пальцах драгоценности. Как ни странно, все брюнетки с пышными прическами. А я представляла немок светлыми — арийская раса.

30 мая. Сегодня мне всю ночь снились дети, а утром мне сказали, что это к большой радости и удивлению. Вот и не верь снам! Буквально через два часа мне принесли две телеграммы. Одна от Гаррика: «Нахожусь Гатчине», а вторая от папы: «Вызов выслал Левушке вышлем Вовочке целую мама».

То, что «Сема» оказался «мамой», не удивило, так как телеграф уже трижды передавал его имя, как Саня, Соня и Саша. Но что означает этот таинственный Вовочка, о котором печется папа, куда и зачем выслан вызов Левушке, находящемуся в армии, и почему не нам? Думала всяко, прикидывала версии. Одна из них: «Вызов выслал, Левушке вышлем очки». Но и это не удовлетворило.

Ясно было только, что телеграф снова что-то переврал. Пошла в школу, закончила прием экзаменов, вернулась домой и, подходя к столу, вдруг ясно и четко прочла: «Вызов выслал. Левушка в ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ». Давно мы с мамой так не смеялись!..

Наконец-то мы дождались! Вызов выслан! Как это замечательно! Наша эвакуация закончилась — впереди встреча!

Эсфирь Давидовна Рабинович

Девочки взрослели. Многие стали заботиться о своей внешности. Появились самодельные бантики на заколках, бусы из рябины, какие-то кружева, ленточки. Серые однообразные детдомовские платья начали украшаться белыми воротничками.

Среди всех дел, которыми мы старались увлечь детей и сделать их жизнь богаче, особое место занимал детский театр. Сначала мы поставили пьесу «Белеет парус одинокий», а в конце 43-го года и другую, более сложную — А. Бруштейн «Голубое и розовое». Главную роль Блюмы хорошо сыграла Нина Николаева. Роли дети выучивали очень быстро. Их увлекало то, что они начинали жить другой жизнью — жизнью своих героев. Особенно интересной получилась роль Гаврика, которого играла Валя Тихомирова — девочка с явно актерскими данными, ловкая, быстрая энергичная.

Огромный интерес у ребят вызывало изготовление из подсобных материалов костюмов и декораций. Момент из спектакля — пароход причаливает к утесу. Как сделать утес? Мальчишки нашли на конюшне старую попону, притащили столы, взгромоздили на них стулья. Девочки сшили серые байковые одеяла и покрыли ими высокое сооружение — утес получился на славу!

Дети сами были и режиссерами, и актерами, а воспитатели, активно участвуя в творческом процессе, одновременно учились у детей многому, радуясь находкам и ощущая себя участниками общего праздника.

В подготовке спектаклей трудно переоценить роль Марии Николаевны Роговой. Эта добрая женщина все делала с душой, подбирая цвет платья к цвету волос каждого ребенка индивидуально. В своей бельевой она обсуждала с девочками и с воспитателями фасоны платьев, советовалась с ними, если не нравилось, охотно меняла отделку или другие детали. Ее практическая работа с детьми была тоже своего рода воспитанием. Увлечение театром не заслоняло от нас других более важных дел — мы постоянно искали семьи наших детей,

поднимали документы, по метрикам устанавливали место рождения, по адресам посылали запросы. Из разных мест начали приходить ответы, благодарности. Какая была радость, когда у Олега Лукина нашлись бабушка и дед, которые забрали его к себе в деревню!

В апреле 1945 года я уехала в Ленинград. В 46-м году встречала ребят. Выяснилось, что большинство девочек попали в технические ремесленные училища, где их обучали слесарному и столярному делу, к которому душа не лежала. Я поехала в Смольный, объяснила ситуацию, попросила перевести девочек в швейное училище. Инструктор обкома, выслушав меня, ответил кратко:

— Раз направлены, значит, стране так надо.

Однако через два месяца девочек все же перевели в швейный комбинат, где они закончили ПТУ.

Общая атмосфера в детдоме была доброжелательной, серьезных конфликтов между детьми и воспитателями не возникало, если не считать нескольких исключительных случаев. Коллектив воспитателей был дружный! Объединяющую роль играла Ревекка Лазаревна. Все взрывы Ольги Александровны объяснялись ее личными качествами, но основное характерное для нее — могучая энергия и желание вытащить детдом в светлое будущее.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

5 июня 1944 года. Итак, я уже сдала вызов в НКВД. 19 велено позвонить. Наши мечты становятся реальностью. Лева в районе Пскова — в самом пекле и огне.

Нам остается только верить и надеяться. Сюда из Крыма навезли множество татар. Говорят, три тысячи. «Спецпереселенцы». В чем их обвиняют, точно не знаю, но на этих людей спокойно не могу смотреть. Везут их, по слухам, на лесосплав и лесозаготовки. Среди них очень много стариков и калек. Что могут они делать в лесу? Сегодня один менял десять грецких орехов на килограмм картошки.

Когда группа ссыльных татар проходила мимо нашего дома, мама стояла на крыльце. Одна женщина остановилась и попросила воды для ребенка. Мама вынесла ей воды в кружке и заодно незаметно сунула кусок хлеба.

Вера Николаевна Рогова

Летом 44-го мы с Миррой как-то вышли после обеда из столовой и увидели, как от Ступина поднимается к нам в гору целая процессия — несколько подвод, рядом с которыми идет большая группа людей, человек тридцать-сорок. Мы остановились в недоумении — что за люди?

— Татар гонят. С Крыма, — объяснила немолодая колхозница, стоявшая у края дороги.

О ссыльных татарах мы уже знали от нашего завхоза и парторга Кронида Васильевича. Со смешанным чувством любопытства и презрения к ссыльным стояли мы, ожидая приближения этих осужденных нашим правительством людей. Раз их выслали, значит, не зря, значит они сотрудничали с оккупантами, может быть, выдавали немцам наших партизан… О таких предателях много писали газеты, а я не раз читала ребятам во время политинформации выдержки из газет.

Перед горой подводы остановились, с них сошли люди, чтобы лошадям было легче, старики и старухи с детьми и заковыляли в гору. Остальная группа продолжала идти и скоро поравнялась с нами. Люди шли усталые. Лиц мы не видели, так как они шли опустив головы, не желая встречаться с нами взглядами. Одеты они были кто в чем, несли на себе какие-то мешки. Остальная поклажа была на подводах. Только на одной телеге осталась сидеть молодая красивая беременная женщина в цветной шали. Поравнявшись с нами она не опустила головы, и мы смогли заглянуть в лицо «врага», встретившись с ней взглядами. Ее огромные, глубоко запавшие черные глаза, смотрели на нас с такой болью и тоской, что мы не выдержали и отвернулись.

Тоскливая процессия в полном молчании медленно прошествовала мимо нас и повернула за церковью на большак в сторону Мантурова. Потом говорили, что в Мантурове их погрузили в поезда, идущие на север.

Из дневника Мирры Самсоновны Разумовской

7 июня. Открылся второй фронт! Семь с половиной тысяч вылетов сделали союзники, высадив во Франции войска и технику! Это так здорово! Наконец-то наступило это счастье!

9 июня. Сегодня по радио передавали молитву Рузвельта. Слушала с удивлением. Так непривычно слышать по радио слово «Бог».

Близится час нашего отъезда. Жаль все-таки расставаться с коллективом, сжились за два года, особенно с семьей Роговых.

11 июня. Сейчас вечер, но солнце еще не село. Блеют овцы,

мимо окон в освобожденные районы идет и идет скот. Невдалеке копают целину под огороды. У окон стоят двое — председатель колхоза, пьяный в дым, и председатель сельсовета, пьяный в той же мере. Чертова власть на местах. Эти дни трудно с хлебом. Я теперь получаю в детдоме триста граммов, мамин хлеб не берем, экономим на дорогу, а триста на двоих — ерунда!

17 июня. За эти дни была в Мантурове, свезла три тюка наших вещей. Сколько еще мытарств впереди! Вокзал, переезд… Но хоть бы скорее! Напоследок пишу заказанные мне литмонтажи «Лес» и «Река». Ничего не получается — голова забита совсем другим… Решили с мамой выезжать из Угор 20 июня.

20 июня. Дневник вести ни к чему. Лева в опасности. Гаррик в опасности. Мама плачет целые дни. Я замкнулась. Сколько еще может выдержать человеческое сердце?..

Тамара Логинова

О жизни в Угорах, о наших буднях и праздниках много и подробно написали мои подруги, с которыми мы прожили дружно почти два года. А я хочу написать главное: о душевном тепле, которое мы приняли от дорогих нам людей, умудренных жизненным опытом: Иты Ноевны и Ревекки Лазаревны Златогорских, Татьяны Максимовны и Мирры Самсоновны Разумовских, Зинаиды Сергеевны Якульс и совсем еще юных воспитательниц, только перед войной закончивших школу, — Роговых Веры и Людмилы, строгой, но заботливой Ольги Александровны Саренок, которая отправила из блокадного Ленинграда полторы тысячи умирающих детей. Еще хочу помянуть добрым словом Рогову Марию Николаевну, красивую, добрую женщину, благодаря которой мы всегда были хорошо и нарядно одеты, Рогова Николая Васильевича, нашего хозяйственника, доброго человека, и обслуживающий персонал: Зинаиду Ивановну и кухонных работников. Кого не назвала, прошу меня простить. Все эти прекрасные люди отдавали нам свою любовь и тепло, учили нас красивому и благородному, и мы эту науку запомнили на всю жизнь.

У бывших детдомовцев жизнь сложилось по-разному, но думаю, что большинство из нас прожили свою жизнь достойно, не опозорили своего детского дома. Ни одна семья не могла бы вложить в детей столько добра и благородства, сколько вложили в нас упомянутые мною люди. Вечная память всем, которых уже нет с нами сегодня.

А мы, живые, встречаемся, дорожим друг другом, для меня

все — родные, дорогие люди. Хочу, чтобы мы жили дольше и лучше и как можно дольше не расставались. Всех люблю.

После войны в тринадцать лет началась моя трудовая биография. И трудовая книжка тоже с тринадцати лет.

Бабушку мою сожгли заживо немцы под Ржевом в 1943 году. На фронте погиб мамин родной брат Миша и двоюродный Петр. Жить мне пришлось с моей тетей Машей. Жизнь была трудная, но я все преодолела, и мне не стыдно за прожитые годы.

Ира Синельникова

В конце февраля 1943 года пришло письмо от Фаины. Она жила в Казани. В письме был адрес. Меня стали собирать в дорогу. Дали зимнее пальто, валенки и что-то из еды. В Горьком была пересадка, я познакомилась с девушкой, которая также ехала в Казань. Мы приехали поздно вечером, и она взяла меня с собой в общежитие переночевать. Утром я нашла сестру, и мы пошли в баню. К нам подошла женщина, мы разговорились. Узнав, что мы из Ленинграда, она сразу достала хлеб, который выкупила на свою карточку, отдала нам и сказала: «Ленинградцы должны жить, как одна семья».

Вот думаю… Сколько за войну я встретила добрых, честных, бескорыстных и душевных людей.

Один из них — Мирра Самсоновна, которая постоянно нам читала вслух художественную литературу и отрывки своих записей о детском доме. Каждый праздник мы разыгрывали написанные ею литературные монтажи. Лучшей учительницы и человека я не встречала.

В 1944 году мы вернулись в Ленинград, и я стала работать на заводе «Большевик» — ныне Обуховский завод.

Валя Иванова

О Шулевской школе. Она предопределила мою дальнейшую судьбу. Там началась моя духовная жизнь, мое серьезное приобщение к литературе. Наша учительница Герасимова имела прекрасную домашнюю библиотеку — вся русская классика в старинных изданиях, в переплетах с золотым тиснением. Она заметила мою любовь к чтению и стала мне давать книги — том за томом. Так я прочитала всего Гончарова, Тургенева, Толстого. Вспоминая Шулево, вижу себя лежащей на топчане с книгой в руках, либо сидящей за столом, где все мы шулевцы, в поте лица

своего решаем задачи по геометрии…

В Шулево мы занимали две избы: одна для мальчиков, другая для девочек. Жили там прекрасно. Раз в неделю в выходные ходили в Угоры, летом пешком, зимой на лыжах. Всегда старались попасть к обеду. В Шулево готовили себе еду сами. Кашеварили в русской печке. Первой научилась ее растапливать Ника Бобровская, у которой всегда все горело в руках. Продукты из детдома получали на неделю вперед. Картошка завозилась заранее, с осени, и хранилась в гоубце (погребе) при доме. Уроки готовили коллективно. Я всегда была слаба в математике, поэтому жила за счет способностей Ники и Вали Козловских. Зато с ухватами у печки, чугунами и горшками справлялась хорошо. Решая задачи, мы до того упаривались у горячей печки, что иногда снимали с себя всю одежду и прямо с крыльца бросались в глубокий сугроб. Тело обжигало. Бежали в дом, вытирались, одевались и снова садились за задачи, которым ни конца ни края видно не было…

Шулевская школа занимала старинное приземистое здание из черных бревен с железной крышей.

С нами вместе учились сельские ребята. Приходили издалека. Учителя были простые человечные люди, очень любили детдомовцев.

Когда мы получили американские подарки, то в карманах платьев или кофт обнаружили записки и адреса на английском языке. Мне достался адрес на русском языке: США, Калифорния, г. Антиок, Валентина Суровцева…

У нас завязалась переписка. Выяснилось, что Суровцевы были петербургскими сахарозаводчиками, во время революции бежали в Харбин, а оттуда в США.

Никогда не забуду День Победы. Нам объявили об этом во время урока. Все бросились обниматься, целоваться, от радости плакали. Шутка ли — ведь мы этого дня ждали целых четыре года! Многие плакали не только от радости, но и от горя — ведь война отняла у них родителей или братьев и сестер…

Галя Филимонова

…После отъезда детдома в Ленинград, нас, малышей, осталось три отряда. К тому времени у детдома были большие огороды, свой скот: коровы, овцы, свиньи. Детдом, в отличие от сельчан, постоянно снабжался хлебом.

Места вокруг были сказочные. Леса, поля, широкая Унжа, куда мы ходили купаться и загорать на песчаных плесах. Мы

валялись на песке, играли и постоянно жевали сочный щавель, так что казалось, что во рту уже нет кожи. Мы уже знали все травы, чувствовали съедобное, как звери.

Наши шефы военные жили недалеко от нас в деревне у леса. За грибами и ягодами мы шли лесными дорогами мимо голубых полей льна. Проходя мимо военного поселка, били в барабан и трубили в горн. Из казарм выскакивали солдаты, смотрели на нас и смеялись: звучит горн, но это, слава богу, не военная тревога.

Леса наши были дремучие. Один раз встретились с медведем. Побросали все ягоды, закричали, побежали — мы в одну сторону, медведь в другую.

Мы очень любили наших молодых воспитательниц. У Дины Петровны была светлая коса до колен. В лесу на поляне она распускала косы, и мы забирались под навес ее волос, как в стог душистого сена, а она смеялась, читала нам сказки, и все царевны и королевны казались нам похожими на нее.

Мы любили Унжу. Весной она разливалась синью. По ней шли маленькие пароходики, а мы сидели, свесив ноги с высокого берега.

Весна 45-го года. На Унже прошел ледоход, и она разлилась. В один солнечный и теплый день нас вывели на прогулку к реке, чтобы мы посмотрели разлив. И вдруг кто-то из взрослых прибежал и закричал:

— Война закончилась! Победа!

Мы были еще очень малы, чтобы ощутить радость победы, но на всю жизнь запомнили, как плакали, целовались и обнимались наши воспитательницы. А главное, нам дали в обед по три чайные ложки сахарного песку, и мы сразу почувствовали, что сегодня действительно большой праздник!

Зимой мы, дошколята, не ходили в общую столовую, так как падали, проваливаясь в сугробы или в ямы от лошадиных копыт. Еду приносили в наш бревенчатый дом, который стоял на самом краю Угор. Дальше была дорога, поле, лес, река. Зимой в полях гудели метели, а по вечерам слышался волчий вой. Летом в теплую погоду на большую лужайку перед домом выносили матрасы, и мы спали на свежем воздухе. Туда же выносили патефон и часто гоняли «Тиритомбу», единственную пластинку, оставленную нам уехавшими старшими.

Ежедневно мы делали зарядку и мылись холодной водой до пояса. Мы это не любили, но медсестра зорко следила за нами: не помоешься — не пойдешь в столовую.

Новый год всегда отмечался как большой праздник. Мы красили бумагу, вырезали из нее флажки, нанизывали на нитки комочки из ваты и подвешивали эти «снежинки» к потолку.

Однажды в обед к нам пришли два заросших мужика с автоматами, поставили наших воспитательниц лицом к печке, заставили поднять руки вверх. Нам приказали сидеть тихо, не реветь. Набрали себе еду из наших котелков и ушли.

Обе наши воспитательницы, местные девушки, очень испугались, а мы хныкали от страха. Потом закрыли двери на засовы, накормили нас и успокоили.

Война только что закончилась, леса наши — глухие, в них было много зверья и дезертиры тоже водились.

С отъездом старших ребят жизнь наша стала намного скучнее. Но летом у нас появлялись гости из Ленинграда. Приезжали воспитатели, — их тянуло в Угоры, где они проработали два года, где было пережито так много. Они привозили нам игрушки и вещи и, чем могли, помогали нашим местным воспитательницам.

Летом 1946 года приехал Лева. Целый месяц он для нас рисовал и очень много возился с ребятами как воспитатель. Слепил нам из глины маски волка, медведя, козы и другие, научил нас делать папье-маше и устроил праздник с масками, с шуточными играми и еще многими интересными забавами. Уехал он в конце лета, оставив свет в наших сердцах. А мы вспоминали, как плакали наши старшие девочки, когда узнали, что он был тяжело ранен.

Сайма Пелле

Весной 44 года я получила из Казахстана письмо от моей тети Хильды. Ее с семьей выслали туда в 38 году, — всех финнов выселяли из Ленинградской области. Она связала меня с Любой. Потом переписка наша оборвалась. В 45 году, уже в Ленинграде неожиданно круто изменилась моя судьба. За два дня до поступления в ФЗО на квартире Мани Павловой я случайно встретилась с женщиной, которая стала моей второй матерью. Ева Евсеевна Смирнова в 41 году потеряла мужа и осталась совсем одна.

Работала она бухгалтером на фабрике «Красная работница». В тот же вечер нашего знакомства, она увезла меня к себе домой, потом забрала мои документы из ФЗО, определила в школу и удочерила по закону. Мы с ней дружно прожили 16 лет.

Детдом вспоминаю хорошо. Я всех там любила, и меня все любили.

Надя Каштелян

…В детдоме жила хорошо, но мало. В декабре меня вместе с Фридой Рабкиной и Валей Редькиной отослали в ремесленное в Горький, в поселок Канавино. В ремесленном мы работали по 12 часов у станка. После работы ночью чистили картошку. Нам говорили:

— Спать будете после войны!

Выучилась я на токаря, стала работать. Ела досыта, но хлеб свой, 800 грамм, продавала, чтобы одеться. Из полученных за хлеб денег брату младшему в Молотов посылала сначала по 200 рублей, а потом по 400. Себе купила платье и туфли.

В Ленинград вернулись в мае 44-го. Фрида Рабкина убежала с завода имени Сталина в Горьком. В Ленинграде ее за это арестовали как дезертира трудового фронта и посадили. Она очень красивая была. После войны раз встретились, расцеловались, а потом она опять пропала.

Ольга Александровна Саренок

За нашу работу детский дом № 55/61 был дважды награжден грамотами Горьковского Облисполкома, а после раздела и перехода в Костромскую область — дважды награжден грамотами Костромского Облисполкома.

В июне 45-го года меня вызвали в Костромской Облисполком и назначили начальником эшелона всех детских домов, возвращающихся из области в Ленинград. Состав был из восемнадцати вагонов, в котором ехали семь детдомов.

Возвратились мы в Ленинград в июле 1945 года.

В Угорах остались три отряда дошколят, примерно шестьдесят человек, с местными воспитателями. Директором детдома стал Кронид Васильевич Целиков, бывший наш завхоз.

Письмо Кронида Васильевича Целикова Ольге Александровне Саренок. 1945 год.

…Детский дом имеет в этом году 100 тысяч рублей прибыли с подсобного хозяйства и в настоящее время по всем показателям занимает первое место в Костромской области.

Ольга Александровна, не думайте, что я здесь горы своротил. Вашего труда здесь больше. Наработанное в течение трех лет коллективом ленинградцев, трудившихся под Вашим руководством, и труд, вложенный лично Вами, помогли мне, как директору детского дома выйти сейчас на первое место в области.

Все, что заложено коллективом Ленинградских работников и лично Вами, я поддерживаю.

В детском доме почти все то же. Те же порядки и те же хорошие ребята. Сейчас к новому году закупаю детям подарки. В общем, живем неплохо. О детях не беспокойтесь. Все в порядке.

Лида Филимонова

…Когда мы вернулись в Ленинград, жизнь развела нас по разным дорогам. Мы как бы потеряли свою семью. Только тогда мы по настоящему поняли, сколько труда вложили в нас наши воспитатели, чтобы мы, сироты, жили полной интересной жизнью.

Я всегда рассказываю родным и детям о нашем замечательном детском доме, о людях, которые окружили нас теплом и заботой.

Мы их никогда не забудем.

Все они останутся в наших сердцах навсегда.

Валя Козловская

Вернулся детский дом в Ленинград в июле 1945 года. На Московском вокзале нам устроили торжественную встречу с музыкой. Нас встречали представители Гороно и оставшиеся в живых родители немногих детей.

Геня Мориц

После возвращения в Ленинград сразу поступил в ремесленное училище, где получил специальность слесаря. Потом четыре года работал на Кировском заводе, отслужил армию и пошел работать на завод «Кинап» ставший потом объединением ЛОМО. Там я проработал 39 лет слесарем шестого разряда.

Лев Разумовский

С Сашкой Корниловым я встретился после войны два раза.

Году в 45-ом или 46-ом, когда были еще слишком свежи детдомовские впечатления, когда постоянно будоражили воспоминания о недавнем прошлом. Кто-то из ребят сказал мне,

что я могу увидеть Сашку в садике напротив кинотеатра «Правда» около Звенигородской, что он бывает там ежедневно.

Я пошел туда, сильно сомневаясь, что встречу его, однако ошибся. Я узнал его сразу среди группы парней, азартно игравших в карты на двух составленных скамейках недалеко от входа. Рядом с ними прямо на земле лежали пачки денег.

Первый же взгляд на этих приблатненных ребят и их ответные взгляды исподлобья, с явной враждебностью ко мне, когда я окликнул Сашку, сразу убедили меня в наихудшем — Сашка вернулся в ту среду, из которой в войну его вырвал детдом.

Сашка тоже узнал меня сразу, сразу вскочил на ноги и что-то крикнув своим дружкам, обнял меня за плечи и быстро вывел из сада. Это был жест защиты меня и одновременно предупреждающий картежников, что он меня знает и в обиду не даст.

Когда мы немного отошли от сада, я сказал:

— Сашка! Что же ты, гад такой, опять попал в блатную кодлу и забыл все, что было у нас в детдоме, мать тебя перемать!

Сашка остановился, посмотрел пристально и спросил тихо и укоризненно.

— Зачем ты материшься, Лева? Или язык общий со мной найти хочешь?

Пристыженный, я извинился.

Он широко и радостно улыбнулся и ответил уже без фокусов:

— Вот так-то лучше. Да. Живу интересной жизнью. А ты что хотел? Чтобы я с моей ногой пошел пилять на 80 рубчиков в месяц? А Мирра Самсоновна где?

— Сейчас дома. Пошли к ней.

Сашка искренне обрадовался.

Дальше пошли разговоры о ребятах: кто где, кто учится, кто в ремеслухе, кто в Ленинграде, кто пропал… Незаметно дошли до Международного проспекта, и я потянул Сашку к комиссионному магазину, где в витрине стояли два бронзовых мушкетера, прекрасно вылепленных и прочеканенных неизвестным мне мастером прошлого века. Они были в шляпах с перьями, в камзолах, плащах, ботфортах и со шпагами.

— Смотри, какая красота!

— Тебе они нравятся? — спросил Сашка.

— Еще бы!

— Давай, я тебе их куплю.

— Ты что, с ума сошел? Они же по восемьсот рублей каждый!

Сумма казалась мне неслыханно огромной. К тому времени, после долгого и мучительного оформления документов на

инвалидность, я получил вторую группу и пенсию 53 рубля в месяц (через год вторую группу сняли и заменили на третью — на десятку меньше).

Однако сумма совершенно не смутила Сашку. Он вытащил из кармана штанов пухлую пачку денег, повернул к двери магазина и спокойно сказал:

— Здесь хватит. Пошли.

— Никуда я не пойду. Не дури.

— Лева! — сказал Сашка ласково. — Что ты гоношишься? Мне эти деньги легко достались. Завтра еще столько же будет. А тебе — забава.

Я дал ему понять, что если он не спрячет деньги в карман, наш визит к Мирре отменяется. Он покачал головой, запихал деньги назад и замолчал до дома. Обиделся.

Мирра встретила его радостно, обняла, усадила за стол и разговорила. От острых тем Сашка ушел, я их тоже не поднимал, и мы весь вечер проговорили о детдоме.

После этого Сашка исчез.

Прошло два года.

Я был дома. В дверь позвонили. Я открыл. На площадке стоял мужчина с суровым обветренным лицом и прищуренными недобрыми глазами.

— Сашка? — ахнул я. — Заходи!

Он не двинулся с места.

— Дома есть посторонние?

— Никого нет.

— Где Мирра Самсоновна?

— На даче с дочкой.

— Жаль. Но все равно зайду.

Он шагнул ко мне. Мы прошли в мою комнату и проговорили весь вечер. Он только что вышел из тюрьмы. Рассказывал о тюремных нравах, обычаях, отдельных эпизодах тюремной жизни. Рассказывал, как всегда, образно, ярко, с его особым, корниловским юмором. А я смотрел на него, не переставая удивляться, как он изменился: под яркой речью и шутками скрывалась тоска, настороженность и надломленность.

После этого визита он опять исчез. На этот раз навсегда.

Нина Иванова

…Не надо бить в барабаны.

Вся наша жизнь была тяжелой и прошла в жестокой борьбе за существование. Мы с большим трудом сочетали учебу с работой,

которая давала нам возможность жить, — поэтому многие из нас остались недоучками.

Будучи по специальности геофизиком, я восемь лет копила деньги, работая уборщицей, мыла полы, чистила уборные, чтобы купить себе жилье.

Мы — поколение, надломленное войной. Рассказ каждого из нас начинается со слов «мама умерла» или «отец погиб на фронте», «Ленинградская блокада». Детдом был как спасательный круг. Потом была жизнь, жестокая и беспощадная, в которой каждый карабкался, как мог, чтобы не утонуть…

Эпилог

Мы встали, чокнулись, выпили. И снова подняли рюмки за тех, кто не дожил до этого дня, — за Олега, Володю и Лёву Громовых, Лиду Суслову, Валю Спиридонову, Машу Павлову, Полину и Тоню Сусловых, Люсю Балашову, Люсю Чидину, за Иту Ноевну Златогорскую, Татьяну Максимовну и Мирру Самсоновну Разумовских, Зинаиду Сергеевну Якульс, Розу Михайловну Молотникову, Марию Степановну Клименко, Николая Васильевича, Марию Николаевну и Люсю Роговых, Антонину Лаврентьевну Каверкину, Лидию Павловну Галченкову, за многих других, по каким-то причинам исчезнувших, ушедших из нашей жизни…

1998